

Михаил Булгаков



Берега

избранное
Г

С
В
Е
Д
Е
Н
И
Я
О
Б
У
Д
Н
О
М
О
У

Annotation

В книгу избранных произведений О. Сулейменова вошли поэмы «Земля, поклонись человеку», «Глиняная книга», стихи из предыдущих поэтических сборников. «Определение берега» — итоговая книга поэта, она охватывает пятнадцатилетний период творческой работы, автора. Остросоциальная, лирическая поэзия Олжаса Сулейменова завоевала признание у советского читателя и за рубежом. О. Сулейменов — лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана, премии Всесоюзного Ленинского комсомола и Государственной премии им. Абая.

- [ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕРЕГА](#)
 - [ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ](#)
 - [ЗЕМЛЯ, ПОКЛОНИСЬ ЧЕЛОВЕКУ](#)
 - [1961-1962](#)
 - [ЯБЛОКИ](#)
 - [ПЕЙ](#)
 - [«Почта, почта проклятая виновата...»](#)
 - [ВОЛЧАТА](#)
 - [ДОГОНИ\[2\]](#)
 - [«О конь!..»](#)
 - [АРГАМАК](#)
 - [ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ СЕРДЦЕ ?](#)
 - [РУСЬ ВРУБЕЛЯ](#)
 - [НОЧЬ СВЕРШЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ](#)
 - [ЖАРА](#)
 - [«...Одна война окончилась другой...»](#)
 - [«Бетпак-Дала...»](#)
 - [ХЛЕБНАЯ НОЧЬ](#)
 - [НА ЛИВЕНЬ — С САМОЛЕТА](#)
 - [«Париж!..»](#)

- ИЗ ОКНА ОТЕЛЯ
- НОЧЬ. ПАРИЖ...
- ЛУВР
- ЖЕНЩИНА
- ЛИВЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ
- НОЧЬ НА НИАГАРЕ
- ЧИКАГО. В МУЗЕЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
- «Вожди индейцев пришли на обед...»
- ИНДЕЯ
- «Я таю над ночными городами...»
- АФРИКАНСКИЕ РИТМЫ
- 1962-1963
 - РИШАД, СЫН СТЕПНЯКА
 - РЕЙС СВОБОДЫ
 - «В южный город на лето...»
 - «Пес сидел на цепи весь век...»
 - «Ночи августа...»
 - ОН БОРМОЧЕТ СТИХИ...
 - ГРАНАТ В ПЕСКАХ
 - НОЧЬ В ПУСТЫНЕ
 - «В Поволжье снова сушь, земля желта...»
 - ТОНКИЕ ОРЛЫ
 - «Хрипло поет о любви старик...»
 - «Вблизи Чингизских гор его могила...»
 - ХРОМОЙ КУЛАН
 - МОЛИТВА БАТЫРА МАМБЕТА
 - КОЧЕВЬЕ ПЕРЕД ЗИМОЙ...
 - «Волхов, волхвы...»
 - ПЕСНЯ КУМАНА[10]
 - САМУМ
 - ПЕСНЯ НАД ПЕСКОМ
 - НОЧНЫЕ СРАВНЕНИЯ
 - АЙТЫС[12]
 -
 - ГОВОРИ, КАРА-БАТЫР!
 - ГОВОРИ, УРАК-БАТЫР!

- СЛОВО ДУРАКА
- РАСКОПКИ В ЗОНЕ ШАРДАРИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
- ЧЕРНЫЙ ЖАВОРОНОК
- ФЕВРАЛЬСКИЙ ЯГНЕНОК
- КОЛОДЦЕКОПАТЕЛЬ КАЗБЕК
- «Волга» вьется аварской дорогой...»
- ГЛИНЯНАЯ КРУЖКА МОПРа
- КРАСНЫЙ ГОНЕЦ И ЧЕРНЫЙ ГОНЕЦ
- «Кто-то медленно скачет и скачет во сне...»
- ШАШКА
- ОКРАИНА
- «Загнали кондуктора под потолок...»
- ПЕЙЗАЖ
- НА ПЛОЩАДИ ПУШКИНА
- УЩЕЛЬЕ
- «Наконец!...»
- ПРОЩАНИЕ С ГРЕЦИЕЙ
- УТРО ПОСЛЕ ШТОРМА
- ПОЛДЕНЬ, ПУСТАЯ МЕЧЕТЬ
- ТИШИНА
- ХУДОЖНИКИ
- ШЕПОТ
- СЕНТЯБРЬ В БИБЛОСЕ
- БААЛЬБЕК — ХРАМ СОЛНЦА
- МОСТЫ
- ВОЗВРАЩЕНИЕ
- АЙНАЛАЙН
- АЗИАТСКИЕ КОСТРЫ
- ПЯТЬ
- «В горах Памира...»
- ЗВЕЗДА
- «Спи спокойно, дада. Спи спокойно, отец...»
- РАЗЛИВ
- ТЫ СОБАКУ УДАРИЛ
- В. ЖИВУЛЬСКОЙ, ПОЛЬСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЕ,

- «Я выпросил в отряде две недели...»
- ТРАВА
- АПРЕЛЬ
- 1967-1969
 - ТРИ ПОКЛОНА
 - «Традиция ислама запрещала...»
 - НЕ ЖДИ
 - ПРОЩАНИЕ
 - «Были такие витязи...»
 - ВСТРЕЧА С БОЖЕСТВОМ
 - АЗ ТЭ ОБИЧАМ
 - МАТЬ
 - ПОСЛЕДНИЕ МЫСЛИ МАХАМБЕТА,
УМИРАЮЩЕГО НА БЕРЕГУ УРАЛА ОТ РАНЫ
 - КОЧЕВНИК
 - ГАДАЛКА
 - КУЧЕВЫЕ ОБЛАКА
 - СТАРИК С РУЖЬЕМ В УЩЕЛЬЕ
 - ЭМИЛЬХАН ХАЗБУЛАТОВ :
 - ДЕКАБРИСТЫ
 - «...В эпосах неслыханных, китовых...»
 - АКТЕР И НОЧНОЙ ГОРОД ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ
 - НАЗЫМУ ХИКМЕТУ
 - ВОЛНА У КАМНЯ СААДИ
 - СЛЕДЫ
 - «Над белыми реками стаи летят...»
 - ДЕВУШКА НА ЗЕЛеной ТРАВЕ
 - ДЕВОЧКА В ЖЕЛТОМ САРИ
 - МИНУТА МОЛЧАНИЯ НА КРАЮ СВЕТА
 - «Ну что же, облака...»
 - МУРАВЕЙ
 - КАКТУС
- 1970-1973
 - ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО АКЫНА СМЕТА
 - ВНАЧАЛЕ БЕ СЛОВО...
 - АЗ, БУКИ, ВЕДИ...

- CREDO
- РЕПЛИКА НЕХРИСТЯ И — БО, ИДЕАЛИСТА
- РАССУЖДЕНИЕ КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК О КРАСОТЕ ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ КОСТЕЛА
- БОЛЕ
- «На озерах Кургальджино...»
- «Опаздывают поезда...»
- «Это кажется мне...»
- «Что такое лишние?...»
- РАССУЖДЕНИЯ КЕНИЙСКОГО ПОЭТА:
- КАЖДЫЙ ДЕНЬ — УТРО
- ЧЕРНОЕ И КРАСНОЕ
- БЕЗЫМЯННАЯ ВЫСОТА
- ЖДЕМ ПАРОМА ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ
- СЕВЕР
- «Вы меня любите, горы...»
- НЕДЕЛЯ
- ДЖОМОЛУНГМА И КОЛОДЕЦ
- «Любая влага, влитая в кувшин...»
- СИНИЕ ОСТРОВА
- «Бешеной пеной прибоя...»
- СИЛЬНЕЕ «ФАУСТА»
- ПРО АСАНА НЕВЕЗУЧЕГО
- СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ
- АХ, МЁД, АСАН!
- В НАШЕМ АУЛЕ БЫЛ САПОЖНИК
- СЕРАЯ МИСС
- «В нашей маленькой речушке...»
- БУЛЬБУЛЬ[43]
- В ВИНОГРАДНИКЕ
- БАЛЛАДА
- ГЛИНЯНАЯ КНИГА
 - 2700 ЛЕТ СПУСТЯ
 - ЭПИЛОГ
 - НОГИ

- ИЗ ОБВИНЕНИЯ ДЕВЯТОГО
- ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
- ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВТОРОЕ
- ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
- ПРЕСТУПЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
- ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЯТОЕ
- ПРЕСТУПЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
- ПРЕСТУПЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
- РОГА
 - ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ
 - РИСТАЛИЩЕ
 - ПРЕСТУПЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ
 - КАЗНЬ
 - ПРАЗДНИК КРАСНОЙ ЗЕМЛИ
 - ПРИГОВОР

- notes

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)

- [57](#)
 - [58](#)
 - [59](#)
 - [60](#)
 - [61](#)
 - [62](#)
 - [63](#)
 - [64](#)
 - [65](#)
 - [66](#)
 - [67](#)
-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕРЕГА

Избранные

СТИХИ

И

ПОЭМЫ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Не люблю предисловий^[1]. Особенно к стихам. Они должны говорить сами за себя. Но Олжас Сулейменов попросил меня написать предисловие к его книге. Он тоже не любит предисловий. «Но,— сказал он,— издатели очень хотят предисловия. Вы когда-то напутствовали первую публикацию моих стихов в центральной печати, так напишите, пожалуйста, и теперь!» И я написал. С великим трудом. Стараясь не впасть в то, что, если не ошибаюсь, называется просопографическим методом, впрочем применяемым в данном случае не к Олжасу, а к себе самому: я стремился не уснащать повествования о поэзии Олжаса теми или-иными фактами своей биографии.

Предисловие наконец получилось таким, каким и нужно быть порядочному предисловию, но куда же мне деваться со своими воспоминаниями, хотя и не имеющими отношения к предисловию, но, несомненно, имеющими отношение не только ко мне лично, но и к тому народу, сыном которого является мой друг Олжас.

Казахи!

Я думаю, что слышал их голоса, скрип их повозок, ржание их коней-и рев их верблюдов чуть ли не с первого дня своей жизни, со дня рождения своего в доме поблизости от Казачьего базара. С малых лет я помню, как появлялись в торговых рядах, между кирпичной каланчой и деревянным цирком эти всадники в лисьих малахаях и всадницы в засаленных парчах и бархатах и в шапочках, украшенных птичьим пером. Майский кумыс в мехах и бочонках, кое-какая нехитрая степная пушнина, кожи, масло, и сало, а зимой фиолетовые скотские туши и белые лунообразные колеса мороженого молока — все это

обменивалось казахами на бумажные, медные и серебряные русские деньги, которые не залеживались в кошельках за пазухой, а живо преображались в шанинские ситцы и бархат, то есть в мануфактуру из магазина Шаниной, в феттергинкелевские кастрюльки, то есть в металлическую посуду со складов Феттера и Гинкеля, в конфеты из кондитерской Зонова и в разную мелочь из магазинчика «Любая вещь», куда тоже заявлялись степные покупатели с кнутах за поясом. А затем казахи покидали город Омск, который они называли по-своему Омбы, переправляясь на пароме за Иртыш, в те пространства, что на старых военнотопографических картах Акмолинской области обозначались как кочевья киргиз-кайсацкой орды. Но мне казалось, что там Африка: верблюды, появлявшиеся из-за Иртыша, совпадали с верблюдами на книжных картинках, изображающих пустыню Сахару. Позднее у меня возникли более точные представления об этом районе иртышского левобережья, западнее, точнее — юго-западнее которого, где-то очень далеко, за Уралом и за югом Европейской России и за Балканами, действительно, в конце концов, все-таки пламенеет Африка. И, забегая на полвека, вперед, я должен сказать, что мне сразу показались ясными и понятными стихи Олжаса Сулейменова о том, что над озерами Кургальджино зажжено солнце Африки. Приблизительно так ощущал в свое время и я, но недавние стихи Олжаса напомнили мне о тех временах, когда еще не родился не только Олжас, но, вероятно, и его родители. А тогда мое личное знакомство с казахами началось не с какого-нибудь экзотического, степного, но с одетого и обутого, как и я, городского мальчика, посаженного волею аллаха на соседнюю со мной парту первого класса 1-й омской гимназии. Это был сын толмача Акмолинского областного правления, очкарик, как выразились бы теперешние ребята, и

первый ученик, как тогда назывались отличники. Педагоги ставили нам в пример его старательность и хорошее поведение. Может быть, образ этого мальчика, сына толмача, как-то слегка и отразился впоследствии в моей поэме об Увенькае, воспитаннике школы толмачей в Омске, но во дни нашего совместного ученичества я общался с этим мальчиком мало и не знаю его дальнейшей судьбы, так же как не знаю судеб большинства других моих соучеников, рассеянных вихрем революции. Но именно она, революция, несколько позднее помогла мне лучше всяких толмачей понять, что творится в степях, какие страсти бушуют под пологом войлочных юрт. Именно революция, Октябрьская революция со всеми ее последствиями и дала мне возможность познакомиться с целой кавалькадой воинственных амазонок в буйном облике молодых заиртышских казашек. Более того, я сделался их доверенным лицом, ходатаем по их делам. Суть в том, что они, эти женщины, взбунтовались. Против нелюбимых мужей. И так как все это было в первой половине двадцатых годов, эти женщины потребовали на основании советских законов раскрепощения! «Нас выдали замуж за наших мужей насильно, нас выдали за калым, нас держат взаперти, и пусть газета «Рабочий путь» поможет нам стать свободными, полноправными советскими гражданами» — таков был смысл их требований, И я, юный репортер, написал ряд статей, освещающих все перипетии их борьбы за новую жизнь. Обо всем этом я впоследствии рассказал в очерке «Бунт желтых жен», напечатанном полностью в книге «Грубый корм» (изд-во «Федерация», М., 1930), Но, пожалуй, не менее ясно это выражено в одном из забытых моих стихотворений: «Эй, супруга моя, Бибиш, наш аул ушел за Иртыш, почему ж ты осталась в городе, на крыльце у прокурора сидишь?» — «Мой муж, хромой

Мукаш, ты вчера показал мне кнут. Поеду в город, спрошу адвоката, что надо делать, если бьют?»

Таков был смысл написанных мной слов. Но звучали они в ритме некоей казахской песенки, с малых лет ласкавшей мой слух. Сначала я и вовсе не понимал, что это значит. Но с детства пристрастный к волшебству словосочетаний, я любил повторять этот услышанный где-то на базаре или у паромной переправы мелодичный обрывок песни:

Айналайн...

Айналайн...

Так, по крайней мере, звучало это для меня. А что это значит — я и не ведал, да и не спрашивал ни у кого, и даже у взбунтовавшихся женщин. С ними разговоры шли о кнутах, о тиранском обливании их холодной водой на морозе, об угрозах провезти за непокорство нагими верхом на черной корове, лицом к хвосту, и о вытекающих из всего этого ходатайствах о расторжении брака с законным разделом имущества, а не о песнях, и вовсе не о значении сладкого степного слова «айналайн».

И о значении этого слова я впервые спросил не у казашек и казахов, а у короля писательского Антона Сорокина. И он, знаток казахского быта, ответил мне кратко и категорично: «Айналайн» значит — «моя дорогая». Напишите поэму о степной красавице Айналайн!.. И я вставляю ее в какой-нибудь свой рассказ»,—добавил он, ибо любил вставлять в свои рассказы понравившиеся ему чужие стихи. И я действительно написал эту свою еще очень юношескую поэму о том, как казахский мальчик Айдаган увидел в степи красавицу на белом коне — генерал-губернаторшу — и принял ее за Айналайн, и бросил скромную степную девушку Чару, пошел в город и нанялся на генерал-губернаторские конюшни, но Айналайн — это было связано с революцией 1905 года!

— оказалась Зверухой. И я напечатал эту поэму «Зверуха» в «Сибирских огнях», и ее хвалил не только Антон Сорокин, Но точное значение слова «айналайн» и после этого осталось для меня не вполне ясным.

Ничего не прибавил к пониманию мною этого слова и певец из аула Каржас. Надо сказать, что долгое время я, углубляясь все дальше и дальше в степи, как-то не замечал этого достопримечательного аула, который находился совсем рядом с городом, чуть подальше овчинно-шубного завода за Иртышом, прямо напротив крепости. Не помню, по какой надобности я очутился однажды перед саманными и глинобитными жилищами этих уже оседлых, но не терявших связи со степью казахов. Это были, как выяснилось, давнишние выходцы из-под Баян-Аула, откочевавшие не менее ста лет назад на север, под Омск. Узнав об этом и взглянув со стороны аула на очертание Омска, я понял и живо представил себе; что оттуда — из-за реки, на аул Каржас мог смотреть не кто иной, как будущий друг Чокана Валиханова Федор Достоевский, выходя из своего Мертвого дома для каторжной работы на берегу у крепостного вала. Может быть, именно в такие моменты у Достоевского и возникла мысль о будущих судьбах степи и вообще Азии. И, конечно, он думал о казахах. А думали ли они о нем? И вообще—о чем они думали, глядя на Омскую крепость? Само собой разумеется, я расспрашивал у жителей аула о прошлом, но они или стеснялись, или действительно мало что знали. Но я там нашел старого акына, певца песен; И мало того, что нашел: несколько позднее мы с товарищами сумели заманить его с собой в город на писательское совещание, и седой акын сидел в городском театре за столом писательского президиума плечом к плечу с бородатым поэтом профессором Петром Дравертом, с юным поэтом моряком Убекосибири Яном Озолиным, с ненецким драматургом Иваном Ного и с тюкалинским

фольклористом из села Большемогильное Ваней Коровкиным; И акын пел, и в его песнях я уловил то же самое слово «айналайн», употребляемое как будто в смысле обращения к женщине, но, может быть, и не только к женщине, а к чему еще, я не уразумел.

Я не уразумел этого и в степи за Сергиополем, на пикете Кзыл-Кий, близ которого громоздились руины башни, якобы той самой, с которой бросилась когда-то красавица, безутешно оплакивавшая своего возлюбленного. Козы-Корпеш! Баян-Слу! Так, по крайней мере, объяснил мне мой возница-казах, и, поведав об этом, он запел песню, в которой звучало то же самое слово «айналайн». Но когда я спросил, о чем он поет, казах сделал какое-то неопределенное движение рукой, охватывающее и степной горизонт; и небо, в котором сиял молодой месяц, и сказал, что порусски, да еще так хорошо, как в песне, объяснить никакой человек не может!

Но все же нашелся такой человек, который объяснил мне и значение слова «айналайн», и еще очень многое другое. Это Олжас, Олжас Сулейменов. И, конечно, у меня есть что сказать о нем. Я не сомневаюсь, что о нем вообще много напишут, но мне кажется, что, не ограничивая себя рамками обычных предисловий, газетных статей и тому подобным, я могу сказать, что, может быть, далеко не всем известно и понятно.

.Олжас вдвое моложе меня. Он родился в 1936 году, то есть в том именно году, когда мы вывели на омское писательское совещание певца из аула Каржас, населенного выходцами из-под Баянаула, того самого Баянаула, откуда род свой ведут и предки Олжаса. Бунтующие желтые жены, за раскрепощение которых я боролся,— ровесницы бабушкам таких молодых людей, как Олжас. Толмач областного правления — я вспомнил его фамилию, Джантасов,— мог иметь дело с

прадедами таких, как Олжас. И обо всех этих вышеперечисленных лицах Олжас мог только слышать или читать в литературных произведениях, в том числе и моих. И нет сомнения, он читал мои произведения. Читал еще подростком, юношей, о чем свидетельствует книга его «Доброе время восхода» с дарственной мне надписью будто и от себя, Олжаса, но в то же время и от героя моей поэмы — книголюбивого Увенькая.

Конечно, он написал это в шутку. Разумеется, он никакой не Увенькай, а я не полковник Шварц из этой поэмы, а мы оба, как говорится, совершенно самостоятельные явления в литературе и жизни. Так вот, в этой самой книге «Доброе время восхода» я и нашел то, что искал долгие годы. В одном из стихотворений было сказано наконец ясно: «Обращение к дорогому человеку» — айналайн. «Кружусь вокруг тебя» — подстрочный перевод. «Принимаю твои болезни» и «"Любовь моя» — смысловые переводы».

Так наконец я и узнал, что значит это, с юных лет моих кружившееся вокруг меня слово «айналайн». И помню: однажды здесь, в Москве, во время съезда писателей, мы с Олжасом еще и еще раз уточняли значение этого слова, столь загадочно звучавшее на устах возницы моего у башни Баян-Слу и еще более магически зазвучавшего среди Кремля, как будто под перезвон его колоколов. И, глядя на Олжаса, я думал, что, конечно, похож он вовсе не на порожденного моим воображением Увенькая, если и вообще на кого-то похож, кроме как на самого себя, то имеет в чертах своих сходство, пожалуй, лишь с самым настоящим Чоканом Валихановым. Да иначе, конечно, и быть не может!

Вот, в сущности, и вся предыстория того предисловия, которое я предпослал к новой книге Олжаса.

Я сказал в этом предисловии о том, что Олжас Сулейменов, казах, советский поэт, известный ныне не только, советскому, но и зарубежному читателю, пишет по-русски. Вообще говоря, в том факте, что писатель, принадлежащий к одной национальности, пишет не на своем, а на другом языке, нет ничего сверхъестественного, история узнает немало таких примеров. Сын молдавского господаря Дмитрия Кантемира, Антиох Кантемир, стал одним из родоначальников новой русской поэзии. Поляк Юзеф Теодор Конрад Коженевский сделался мастером английской художественной прозы, приняв имя Джозеф Конрад. Польского же происхождения юноша Гийом Альбер Владимир Александр Аполлинарий Костровицкий прославил французскую поэзию под именем Гийома Аполлинера. Но если Конрад стал певцом экваториальных морей, а Аполлинер лишь изредка возвращался мечтами на восток Европы, к прародине, или скажем, к запорожцам, пишущим письмо турецкому султану, то Олжас Сулейменов, казахский поэт, творящий на русском языке, целиком остается поэтом казахским, родным сыном этого прекрасного, гордого народа, исстари сочетавшего свои надежды и чаяния с надеждами и чаяниями народа русского. Явление Олжаса Сулейменова живо воплощает все эти связи — житейские, географические, политические, этические, эстетические.

И — да не прозвучит это парадоксом — Олжас, щедрый в своих творениях на имена людские, не случайно столь скупое упоминает Чокана Валиханова («Я бываю Чоканом, Конфуцием, Блоком, Тагором!») и Абая («Но жив Абай, разоблачавший тупость и чванство девятнадцатого века»). Это все потому, что близость к ним он рассматривает как нечто само собой разумеющееся, потому, что фактически он сам является духовным их продолжением!..

Так написал я. Но вычеркнул, изъял из предисловия несколько следующих страниц, касающихся не только Олжаса, но и меня самого. Это насчет озер Кургальджино, над которыми зажжено солнце Африки. Я уже говорил об этом вначале по поводу Африки, но дело не в этом, а дело в том, что я и сам с детства знал про этот озерный бассейн Центрального Казахстана, об этих двух соседствующих, разделенных только камышами, степных озерах-морях, Кургальджине и Тенгизе. Кургальджин, считавшийся самым большим пресным озером Акмолинской области (450 кв. верст, глубина до 5 аршинов), почитался орнитологами за самый северный в мире пункт гнездования розовых фламинго. И в юности я не раз порывался на Кургальджин в надежде увидеть фламинго, или хотя бы птицу-бабу, как там назывались пеликаны, но мне не посчастливилось, я проезжал поблизости, но все как-то мимо. А вот Олжас, как я узнал из его стихов, действительно побывал там и даже описал, как там был убит гусь, отметив при этом, что «не ударили в телеграммы, ведь потеря не велика: не фламинго, не пеликан — просто гусь на три килограмма». Но дело даже и не в этом, а дело в том, что в стихах Олжаса Кургальджин превратился в Кургальджино. Эта подробность, этот нюанс заставил меня задуматься о многом...

Видимо, там говорят и так, что и запечатлел чуткий слух поэта, тонко реагирующий на голос времени, полный сближения дружественных наречий, дружелюбных речей и песен, как бы в предвестье тех времен, когда действительно над головами людскими загорится солнце для Азии и Европы, Австралии и Африки и обеих Америк! Вот что чувствует он, Олжас Сулейменов, лингвист по натуре, инженер-геолог по образованию, поэт милостью божьей!

А может быть, я слишком идеализирую Олжаса, приписываю ему больше того, что есть? Где доказательства? Чем подтверждаю справедливость всех этих своих утверждений? Ну, конечно, только одним: стихами, которые, не требуя предисловий и послесловий, должны говорить за себя сами! Ведь, в самом деле, этот Олжас, еще так недавно, лет десять тому назад, умевший лишь с юношеской непосредственностью наивно воскликнуть: «Ай, какая женщина, руки раскидав, спит под пыльной яблоней, косы на земле!», теперь вот так здорово рассказал мне обо всяких женщинах — и голубоглазых, и голубовласых, и о белой женщине, которая, как негритянка, незаметна в нью-йоркской ночи и сливается цветом молчания с тоской уставшего города, и о женщинах черных и коричневых. Он знает и диких горлиц над аэродромом Орли, и острые ощущения Бухары, и Русь Врубеля — шубы и русское небо, морозы и странные взоры Марусь. Он видел громадную улыбку Волги и алую радугу Ниагары. В его стихах жив облик башенной Тмутаракани в могильниках гиссарской старины, и гудят самосвалы, внося свою лепту в исторический шум, в суету чертежа Мангышлака... Словом, он вольная птица, пассажир реактивных самолетов, много видел и чувствовал, и вообще, ему хорошо известна вся эта Земля — «в изломах гор, в зигзагах рек, простая круглая звезда!». ...Ну, а если взглянуть на эту простую круглую Звезду, на эту Землю не с самолета, не с небоскреба, не с Эйфелевой башни, не с бухарского минарета, не с останкинского «Седьмого неба», — что можно увидеть еще, чтоб, говоря его же словами, «возвысить степь, не унижая горы»? И — мне это не кажется, а так оно и есть, мой друг Олжас отвечает:

Смотри,

Памирские седые яки

Уходят на Чукотку по горам.

Так говорит он, как будто бы мы стоим с ним рядом из кручах этих гор, куда я мечтал взойти еще подростком, и смотрим оттуда и в степи, в сторону Кургальджина, превратившегося в Кургальджино, в сторону Сибири, где когда-то на базарных площадях снежно-пыльного города Омбы, то есть Омска, я впервые спознал с родичами Олжаса.

Смотри,
Памирские седые яки
Уходят на Чукотку по горам...
...Они, сутулые, прошли Алтаем,
Не торопясь к Саянскому хребту,
О, страсть — не суета, не понимаем,
Как далеко мы ищем красоту.

Это он говорит некой необыкновенной женщине, чье лицо сияет матово: «Сияет матово лицо в углу!» И снова восклицает:

Нет, эта женщина не из ребра,
Сибирская она — из серебра!

Но если Олжасу при взгляде на прекрасное женское лицо вспоминается библейская, сотворенная из Адамова ребра Ева, и блоковское (помните, то самое: «твое лицо в простой оправе»), то в моем воображении при этих словах Олжаса возникает иной, воплощающий все ту же вечную женственность образ: Айналайн. Айналайн — будь она кареглазой или голубоокой, но она и есть именно та Айналайн, о которой поведать можно лишь в непересказуемой никакими другими словами песне:

Кружись, айналайн, Земля моя!
Как никто,
я сегодня тебя понимаю,
все болезни твои
на себя принимаю.
Я кочую, кружусь по дорогам

ТВОИМ...

Л. МАРТЫНОВ

ЗЕМЛЯ, ПОКЛОНИСЬ ЧЕЛОВЕКУ

поэма

Посвящается Ю.А. Гагарину

...Разгадай:
Почему люди тянутся к звездам!
Почему в наших песнях
Герой — это сокол?
Почему все прекрасное,
Что он создал,
Человек, помолчав,
Называет — Высоким?
Реки вспаивают поля,
Города над рекой —
В заре,
И, как сердце, летит Земля,
Перевитая жилами рек.
Нелегко проложить пути
До вчерашних туманных звезд,
Но трудней на земле найти
Путь,
Что в сердце своем пронес,
Что рекою прошел по земле,
Что навеки связал города,
Что лучом бушевал во мгле,
Освещая твои года.
Нелегко,
Но ты должен найти
Путь,
Что в сердце до звезд
Донес,
Путь земной — продолженье пути
До сегодняшних ярких звезд...

И
Хорошо в теплом небе
апрельскою ранью,
Хороши облака.
Вид у неба хорош,
Но представишь нечаянно
глушь мирозданья,
Бесконечность
И скроешь улыбкою дрожь.
Говорю о себе:
Вот летишь в самолете,
Гул мотора привычен,
И скорость обычна,
Вы, я вижу,
Вполголоса песню поете,
Не устали — пропойте вторично.
Просто так, от безделья,
Чтоб в сон не клонило.
Вдруг
Пилот объявляет,
И вы встаете,
Вы еще по инерции слабо поете,
Самолет задирает железное рыло
И уходит в вираж.
Над огнями костров
Вы проходите к люку,
Гул моторов тревожен,
И чехол на спине
Полон жиденьких строп,
В этот миг все становится
Сразу дороже:
И уют мягких кресел,
И комнатный свет.
В этот миг вспоминается все,
Что забыто,

Вся никчемность привычно
отсчитанных лет,
Миг порою становится
ярким событием.
Забываются дни,
Позабыты года,
Век проходит по редким ступеням волненья,
Страх — ударом —
И счастье — вспышкой —
Никогда
Не забудете вы,
Несмотря ни на чьи повеленья.
Вы подходите к люку.
Бездонная жуткая темь,
Только звезды костров
Обличают далекую Землю,
Вас торопят,
Вы первый.
«О нет, разрешите — за тем...»
Что ж,
Тогда отойдите,
Я первым бездонность приемлю!
Гул меня подхватил!
Ночь меня обожгла!
Только тяжесть моя —
верный ориентир.
Я лечу,
Моим телом разрежена мгла,
Кувырком приближается
Мир.
Хлопнул взрывом высокий тугой парашют,
Взвились,
Замерли тонкие стропы.
Тишина,
Я один!
Хохочу! Хорошо!

Я пою!
Не боюсь катастрофы!
Я уверен теперь,
Там, конечно,
Земля!
Та, которая может людей изумлять!
Я смягчил тяготение к ней парашютом,
И ее в темноте
Сапогами нащупал,
Я спустился на луг...
Человек над Землей!
Выше сил знаменитого притяженья,
Понимаю тебя, дорогой,
Дорогой!
Век приходит в мгновенья
великих волнений!
Первый век начинался тогда, дорогой,
Когда пращур отнял от земли
свои руки
И поднял в удивлении над головой
Свои теплые-теплые
Тяжкие-тяжкие руки.
Это было победой.
А ты оторвал от земли,
От родной,
От зеленой -
Историю человека,
Осветил ее пламенем
Тайны космической мглы.
Это стало началом
Второго
Великого
Века.
...Улыбнулся.
Прощально рукою махнул,
И сигнальный огонь

поднимают
На старте,
Полной грудью
ты воздух апрельский
вдохнул.

Миг!—
И воздух остался
Синеть на карте.
На экране — Земля,
На экране — Земля,
То ли дымом повитая,
То ли туманом,
На пустом полигоне
Молчали друзья;
Кто-то тихо сказал,
Побледнев:
«А не рано?»
Да, товарищ,
Я знаю,
и мне не легко,
За него и за Валю,
За всех, кто привязан
К этой жизни,
И кто от нее — далеко,
Далеко-далеко.
Должен быть.
Он обязан.
Жесткий воинский долг —
Отказаться от слез.
Помнишь, так навсегда уходили
в разведку,
Ранним утром,
При свете погашенных звезд,
Отводя от лица
осторожную ветку.

Диски — полны огня,
И кинжал под рукой.
Помнишь, мы проползали под светом
ракеты,
Помнишь,
мы прорывались
сквозь вражьи пикеты,
Очень рано в разведку
Мы шли, дорогой.
А за нами в окопах
молчала страна,
Затаившись
в предчувствии наступленья,
Мы ползли
(А в руках рукоятки гранат).
Под колючими звездами оцепленья
Мы ползли,
как по карте космических трасс,
Вся страна,
Целый мир,
Ждут сигнала к атаке,
Он проходы
разведает для нас
В колючем,
Туманном
Космическом мраке.

II

Я влюблен в Красоту.
Я мечтал о ней сотни веков,
Пришивался к кресту,
Возноси и сносил богов.
Я создал эти реки
И ветер швырнул в моря,
Ты, Земля,
Поклонись Человеку,

Твой бог —
Я.

Первый век — предыстория
Век осмысленья дорог,
Век вихрастых тропинок,
Отчаянья, счастья, тревог,
Век прекрасный мечей,
До конца не узнавших, ножон,
Пораженья приказов,
Виктории светлых строк.
Метеорит граненый.
Пущенный из пращи,
Скорость орла бросает
В небо,
Словно стрелу.
Ветер над потными крупами
Крутит плащи.
Выстрел! И перья!

Земля подлетает к орлу.
Кони со скоростью смерти
Идут над побитой Землей,
Там, где угаснет скорость,
Будет последний бой.
Скорость,
Вправленная в зазубренный
гнутый меч.
Гасит наотмашь все,
Что должно попеть.
Все, что в траве горячей,
Выльет предсмертный вой,
Кони зайдутся плачем
И пролетят над тобой.
Все погибает с громом,
Словно разряд грозовой,

Все —
Это ты,
прадед
Широкоплечий мой.
Небо веселое манит
Твой первобытный взгляд.
Звезды лохматые злобно
Над головой горят.
Луны глядят,
Как бешено
Вертится шар земной,
Брось,
Не молись, прадед ;
Широкоплечий мой.
...Тонет
В Бискайском заливе
Корабль.
Шлюпки разбиты.
Бискайя!
Бискайя!

Мужчины любили
пиво и крабов.
В проломы била
Вода морская.
Мужчины любили
зеленый-берег,
Любили шутку
И жен любили...
Сегодня,
Двенадцатого апреля,
Волны бискайские
Судно топили.
В радиорубке
пьяный радист
Пьет капитанский

резервный ром,
С жутким эфиром —
один на один,
Плача, стучит и стучит —
«Прием!..»
В наушниках
дробный, веселый гам.
Колются
звонкие иглы морзянки.
Слушайте...
Слушайте!
Слу-у-шайте!
Там!
Там — во всем мире,
Ударили в склянки!
Там говорят:
Человек над Землей!
Выше сил
знаменитого протяженья.
Он, наверное, добрый
и страшно злой,
Если выиграл,
Выиграл это сражение!
Крики морзянки
в эфире звенят,
Радист
Трезвонит,
Стучит, полупьяный!..
Исчезают морщины ущелий.
Глядят
В белый след
Штормовые глаза океанов.
...Что из прошлого видел я,
Кроме музейных палат,
Где под мертвыми стеклами
Мирно пылятся кинжалы,

Золотые погоны с халатами рядом лежат.
Сохи, четки янтарные, брошки
и прочая жалость.
Под ногами асфальт,
Как истоптанный вечный такыр,
От газонов несет ароматом
Горячим, как выдох.
Две монеты за вход
В позабытый неведомый мир,
А какими лишениями
люди платили за выход!
Было все, как всегда.
Было крупно.
Летели года,
В диком грохоте времени
Гасли внезапные вскрики.
Мы спешили уйти
От веков
Навсегда, навсегда.
Дни мелькали на лицах,
Как летние знойные блики.
Новый стиль календарный
Был принят полвека тому.
На сто лет позади шел Восток
По следам машин,
Мы со скоростью света
Земную прорезали тьму
От тележных колес
До метровых зиловских шин.
От лаптей — до скафандров,
От юрт — до высотных домов,
До 500 миллиардов
От дымных сосновых лучин,
От ликбезов —
До Ленинки в три миллиона томов.
Мы за это платили дивизиями мужчин.

Голодали наркомы, ночами листая букварь,
Продолжением Маркса явилась для нас
арифметика,
Не свернули с пути,
У мартена
встал сталевар,
Поглядела на наши невзгоды
С усмешкой Америка.
Только годы прошли,
Беспокойные, яркие дни,
Дал могучий ствол
Не сожженный снегами росток,
Сколько книг сохранила Земля!
Ненаписанных книг,
Для тебя, мой Восток!
Серебристый корабль —
«Восток».
Пронесутся года
Над раскрашенной жаркой Землей,
За лохматые книги засядут спокойные
люди,
О, поверят они,
как я падал, вставал с тобой,
Первый Век
Торопливых, суровых, отчаянных буден.
Потому бездушное небо манит меня,
Каждый миг наступает пора тишине
изменять,
Все оставляю —
Траву и могильные плиты
На плоской земле.
Ах,
Как хочется взять
в полет
Боевого коня!
Скорость! Скорость! И скорость!—

Всегда сокращает путь.
Кто в пути,
Кто спешит,
Тот услышит гудение крови,
Человек на скаку
Хочет крыльями с силой взмахнуть
И лететь, распластав на лице
Соколиные брови;
И смеяться над бездной,
И верить в правдивость цветов,
В повороты крутые,
И — в ярость весеннего неба,
Мы создали себя
Обобщением боли веков,
Мы коснемся губами полей,
Где никто до нас
Не был.
Свет земли,
Словно память моя,
Полетит наравне,
Только крупное зримо
В стремительном нашем полете.
Я по старой привычке
качнул бы родной стороне
Плоскостями,
Но крыльев не видно
На звездолете...

III

Я люблю тебя, жизнь,
За весну,
И за страх,
И за ярость.
Я люблю тебя, жизнь,
И за крупное,
И за малость,

За свободу движений,
За скованность
И за риск.
Я люблю тебя, жизнь,
За соленость каспийских брызг.
Человек состоит из белков
И какой-то души,
И белки нас подводят,
И души порою подводят,
Мы бываем тогда по-серьезному
Хороши,
Когда мы остаемся
На целой планете —
Двое.
Я люблю тебя, жизнь.
За сладость и верность разлук,
Я люблю тебя, жизнь,
За женственность Валиных рук,
Я люблю тебя, жизнь,
За грубую ласку ребят.
Я рискую тобой
От имени наших солдат.

Все влюбленные, Валя,
Извечно на звезды глядят,
И мы тоже,
Странно —
Все звезды как будто летят.
Жены летчиков, Валя,
Не спрашивают —
«Когда?»
Сколько летчиков, Валя,
Почувствуют в небе
взгляд.
И, качнув плоскостями,
По адресу передадут,

Много в небе апрельском
путей,
Лишь гагаринский крут.
Так в холмистой степи
Вдруг взмывает гранитный пик,
И орел, не достигнув,
Опишет почетный круг.
Да.
Любовь.
Он любим. Он уверен. Спокоен.
За него чье-то сердце
Болит.
Отбирали сурово:
Любим — достоин.
Про Валю расспрашивал замполит.
Матерью —
степь
мы называем,
Девушкой —
мы скакуна называем,
Мы —
Все, что дорого, величаем
Твоим
именем,
Женщина.
Родина — женщина,
История — женщина,
Честь,
Отвага,
Поэзия — женщина.
Художник свободу рисует — женщиной,
Трава, лужайке, погода — женщина.
Небо — наполовину женственно,
Даже мужественность
Моя.
Может быть,

поэтому женщины
У мужских изголовий стоят.
Даже грусть и метель —
Женщина.
Слава, смерть и тревога —
Женщина.
Я люблю тебя, жизнь,
Беспокойная жизнь,
Потому, что ты —
Верная женщина.
...Исчезают морщины ущелий.
Глядят
В белый след голубые глаза океанов,
Так орлы от земли,
Не прощаясь, летят,
Я гляжу тебе вслед
Из степей Казахстана.
Средь невидимых звезд
Ты летишь в тишине,
Мало кто не заметил
Твое отправление,
Гордость — дочкам оставил,
Тревогу — жене,
Мне — поэту земному —
Свое вдохновенье.
Только мужество взял.
Только веру
И долг,
Только карты
Земли и космической трассы.
С высоты
шар земной,
Как
клубок
дорог
Зеленых, синих

И красных.
Ниже, ниже хребты
И сосновые купы,
Он взлетел, чтоб увидеть концы
Дорог,
Чтоб видеть квадраты.
Округлость
И Кубу,
Плывущую медленно на восток.
Видеть вспышки восстаний,
Пятиконечность
сухой, зеленой
багровой суши,
Слушать историю,
Ну и, конечно,
Вести далекой родины слушать:
«В Леопольдвиле белые каски...
Падает раненый в скалах Атласа...
На мостовую упал Кейптаун...
Слет пионеров у Алатау...
Негры, индейцы, арабы с пеньем
Стали на тропы,
Сжимая приклады...
В Белом доме
Забрызганы стены...
Черные флаги в древней Элладе...»
Парень,
Тебе с высоты виднее,
Ты пролетаешь под яркими звездами,
Скажи нам:
Добьется свободы Гвинея?
Будут ли годы Второго Века
Такими же
Грозными?..

Первый Век!

Мы подводим сегодня итог
Всему сделанному
И виденному,
На плечах мускулистых
Поднялся «Восток»,
Он стоит,
Он летит над обыденным.
Он летит над прошедшими,
Так довелось,
Он прошел над рябым океаном
Парадом,
Все увидел —
Сказания отблесков звезд
И фантастику
пестрых бензиновых
Радуг.
Голубые экраны
сумеют хранить
Все,
что приволокли
С континентов притоки—
Золотинки,
Измолотый веком гранит,
Киловатты
Еще не открытого тока.
...Чтобы высчитать скорость
Полета мечты,
Человек научился считать в биллионах.
Триллионы мгновений
Свистели мечи,
По земле миллионы прошли
Легионов.
Сто миллионов кудрявых рабов.
Сколько бомб?
Сколько рвов?
И ударов плети?

Высчитать,
Высчитать скорость мечты
Нам помогли
Расчеты столетий.
Вот они — Лондоны и Парижи,
Вот они — медленные Мадриды,
Вот они — Бонны,
Безгубые,
Рыжие,
Мир, наотмашь разрубленный стритами.
Вот они —
Длинные материки,
Следы джентльменских острых сапог,
Червяк Миссисипи — мощной реки,
Запад — внизу,
Сверху — «Восток».

IV
Реки вспаивают поля.
Города над рекой — в заре.
И, как сердце, летит Земля,
Перевитая жилами рек.
Нелегко,
Но обязан найти
Все ответы на тот в опрос,
Путь земной —
Продолженье пути
До сегодняшних близких звезд.
Что за путь?
Это долгий тяжелый путь,
Это жизнь,
И твоя и чужая — наша.
Первый век —
Время поисков,
Не забудь,
Как поиск порою

бывает
Страшен.
Пепел поисков истины,
Стебли цветов —
Позади,
На дорогах, открытых по звездам,
Человек создает и богов
И врагов,
А в конце человек
Человечество создал.

Что за путь?
Это долгий стремительный путь,
Это жизнь, молодая, горячая —
Наша!
Я прошу:
Человечество, не забудь,
Что ты стало сегодня
Значительно старше.
Мир,
Земля,
Шар земной —
Сочетание слов,
Сочетанье народов,
Мечей
И судеб,
Сколько твердых копыт
Над тобой пронесло!
Все пустыни твои
Нас, безжалостных, судят.
Мы — железные карлы, топтали тебя,
Мы — батыры Чингиза, дошли до Двуречья,
Мы — великие воины, шли по степям
И с тобой говорили на страшном наречьи.
Мы разрушили Рим,
Мы убили Тараз,

Мы бесчестили белых и желтых красавиц.
Мы смотрели на мир
Сквозь бойницы глаз,
Наши руки при встречах —
В ударах касались.
Гунны, монголы!
Кипчаки и персы!
Лязг крестоносцев!
Столетние войны!
Падали флаги
древних культур.
Волны — с Востока,
С Запада — волны,
Что океаны в сравнении
с этим потоком?
Танками Запада
Хлеб на Востоке потоптан.
Трупы арийцев
на тучных восточных полях,
Братской могилой
служила Земля.
Гибли не те,
Что придумали землеразделы,
Ты за других подставляешь огромное тело
Под пулеметы,
Понявшие сладость свинца.
Брат
За чужое дело отдал отца.
Черный и белый конь —
Бросают черные тени,
Кони атак и погонь —
В одной ярко-белой пене,
Северный полюс Земли
И Южный —
В одних снегах.
Как разделить огонь?

Тени раскрасить
Как?
Я рожден в стороне,
Где живут воедино
Все части света,—
Есть и Запад,
Восток и Север
В стране поэтов,
Есть края, где не знают
Обычных сибирских морозов.
Есть края, где не знают
Аральского знойного лета.
Где
Другие границы
Между частями света?
Океаны не покидают Землю,
Они верят,
Солнце
Сердцем бьется в земле,
Оно верит,
Мы сами
себя для жизни растим,
Мы ведь тоже верим,
что:
Нет Востока,
И Запада нет,
Нет у неба конца.
Нет Востока,
И Запада нет.
Два сына есть у отца,
Нет Востока,
И Запада нет,
Есть
Восход и закат,
Есть большое слово —
ЗЕМЛЯ!

Большое на всех: языках.
Нет Батыев,
Наполеонов,
Есть
Циолковские
И Эйнштейны,
Нет — дивизий,
Есть — миллионы,
Есть — победы,
И нет — ничейных.
Потому что:
Где-то смерть называют
Гордостью,
Смерть на свободе,
Смерть за свободу.
Где-то жизнь называют
Горестью,
Где-то веру
кроют
при боге.
Значит, звезды
еще образуются,
Значит, искры
еще возгораются,
Если где-то
глаза — амбразурами
Наши
Скорости ускоряются.
Значит, песня
еще не окончена,
Где-то мысли —
в разрез
с-судьбой,
Много вспышек
было отсрочено,

Значит,
Где-то последний бой.
Значит,
Где-то идет борьба
С чугунным
веков притяженьем,
Где-то легкое званье раба
Возвращают назад
С пораженьем.
Жизнь идет!
Беспокойная жизнь!
Под ногами тропинки рвутся,
Я люблю тебя,
Гордая жизнь,
Потому что
Ты — революция!
Люди!
Граждане всей вселенной!
Гости галактик!
Хозяева Шара!
Вы не хотите
пропасть бесследно!
Живите,
Живите,
Живите с жаром!
Живите, люди!
Живите, люди.
Вы совершили свой первый подвиг,
Преодолели земную тягость,
Чтобы потомки это запомнили —
Преодолейте земные тяжбы!
Реки, вспаивайте поля!
Города,
вставайте в заре!
Пусть, как сердце, летит Земля,
Перевитая жилами рек!

Мы найдем,
Мы должны найти
Все ответы на тот вопрос.
Путь земной — ...
Продолжение пути
До сегодняшних
Взятых звезд.

У
Хорошо в синем небе
апрельскою ранью.
Хороши облака,
Вид у неба — хорош,
А представишь на час
Иль на два —
Мирозданье...
И потянет на шарик,
На клевер и рожь.
Говорю о себе.
Вот лечу в звездолете.
И нагрузка — привычна.
И по радио — вы торопливо поете,
Слышится, чувствуется — отлично.
Дан сигнал — приземляться,
Родные мои!
Вы с такою тревогой
Приказ отдаете.
Эх, да что там от вас таить,
От страха ли плачут порой в звездолете!..
Я верю!
Фантастам, поэтам, ученым.
Я верю!
Слезам и холодным расчетам.
Я в десять утра, по-московскому,
Черным
увидел небо.

Пошли вы к черту,
Тревожные мысли!
Спокойней.
Спокойней.
Мне надо вернуться.
Рычаг торможения.
И две рукоятки,
Как две ладони
мужские,
Впаялись в пальцы.
Снижение.
Гул меня подхватил,
Развернул,
Раскрутил,
Только тяжесть моя —
верный
ориентир,
Мягкий воздух высот
я собой-разредил,
Кувырком
На пилота обрушился мир.
Хлопнул взрывом
тугой : парашют,
Взвились, замерли
Белые стропы.
Тишина.
Я один.
Хорошо! Хохочу! Я пою!
Не боюсь катастрофы!
Я уверен!
Я прав!
Вот, смотрите — Земля!
Та — с которой
взлетел!
Та — которую
щупал

Сапогами,
Губами,
Смотрите —
Земля!
Я смягчил тяготение к ней
Парашютом.
И спустился на луг.
Человек на Земле!
В сфере сил дорогого навек
притяженья.
Я вернулся с победой
К любимой Земле,
Потерпевшей счастливое поражение.
Я упал в траву...
Сбросил шлем...
Горьковатый цветочный сок...
Погоди,
Я чехол парашютный сорву,
Пригляжусь
И узнаю тебя,
цветок.
Ну-ка, дай лепестки...
Эх, родная земля,
Мы живем,
Мы торопимся,
не замечая,
Что земные луга
Нас выходят встречать
Стебельками забытого
Иван-чая.
Может, этот Иван
Тоже был вдалеке,
И, вернувшись на берег,
Стоял,
качаясь,
И упал на траву,

А в огромной руке
Был зажат, словно жизнь,
Стебелек Иван-чая.

Ты, Земля,
Для меня припасла
Самый светлый
из дней,
Белый женский платок
Промелькнул
Между тонких берез:
— Кто ты, парень?
— Советский. Зовите людей.
— Ой, сейчас! Ты откуда летел-то?
— От самых звезд!
Ты, Земля,
Меня женщиной встретила
Молодой,
Смуглолицей, как Валя,
Скорее увидеться с ней бы!
Вот
Луга, покачавшись,
Легли под ногами
Тропой,
Продолжением той,
Что еще не остыла в небе...

VI
Мир жил предчувствием.
Мир знал — это свершится,
Но даже самая верная победа — всегда
неожиданна.
Сделана тысяча вдохновенных мазков,
И вдруг последний придает картине
Высочайшую глубину и осмысленность.
Художник ждал

последнего мазка —
Распахнуты настежь
в эфире
шлюзы:
Внимание!
Говорит Москва!
Работают все радиостанции
Советского Союза!»
Дрогнул голос железного диктора:
«Новорожденный мальчик в Афинах
В честь Гагарина
назван — Юрой,
Девочка в Токио —
Валентиной...»
Пишут в редакции пенсионеры,
Пишут рабочие, и пионеры.
И инженеры,
Даже мулла,
Разочарованный в божеской вере.
Сегодня
Качают растерянных летчиков,
Сегодня —
Двенадцатого апреля.
Поэты,
забыв о березовых почках,
Ломают строчки,
Ломают перья.

...Радио пишет его портрет:
«Широкоплечий...»
Щупаю плечи...
«Молод... курнос...
Двадцать семь лет...»
Ровесник!..
Но разве от этого легче!
«Учился в ремесленном

на отлично...»
Я ведь тоже был в форме «РУ»!
«Жил на Речной...»
А я на Арычной!
«Честен, правдив...»
А я разве
вру!
«Любит книги и оперетту...»
А я и то, и немного —
другое!
«Он не курит»...
И я сигарету
Торопливо топчу ногою.
Я — центральный защитник
в футболе,
Но могу послужить
в нападении,
Я с улыбкой
любые боли
Выношу
От любых падений.
Я отличник по математике,
Заявляю — силен в астрономии,
В общем,
знаю до чертовой матери,
Не откажешь
и в остроумии.
И в вечерней
даю уроки,
На любой отвечу вопрос,
И вдобавок
в плечах широкий,
Невысок,
И, вообще, — курнос.
Словом, я подошел бы
к делу,

Я бы выдержал
центрифугу,
И мое молодое тело
Вдоль Земли
описало бы
круг.
Ну, примите же
Заявление, :
Я согласен,
Могу вторым.
Если надо —
с именем Ленина
Этот подвиг
Мы повторим!..
О, таких
Молодых, зеленых,
Коренастых,
Слегка курносых
На моей земле —
миллионы-
Как подумаешь —
Выше ростом
Станешь.
Сильные и горячие,
Дорогие мои ровесники,
Вы все те же —
В норе не прячете
Свое тело.
Как буревестники,
Вы смелеете
с каждым годом.
Дорогие мои ребята,
Неужели с таким народом
Океан
не осилим —
пятый!

Принимаем
Твое заявление.
Неизвестный,
Один из многих.
Знаем,
Верим —
С именем Ленина
Ты пройдешь
по любой дороге.
Если надо Земле
и Родине,
Если надо
Всему человечеству!..
Над могилами — куст смородины,
Словно память сутулится
вечная...
...На заводе был митинг.
Поднялся седой,
словно снег,
Он негромко сказал:
«Мы горды тобой,
Юрий Гаганов...»
Он ошибся слегка,
Но его не поправили,
Нет —
Он был прав,
И неважно
в фамилии буква какая.
Важно то —
Что взлетел он с площадки
Советской страны,
Важно то —
Что спокойные люди
его провожали,
Важно то —
Что мы все

перед подвигом этим
Равны,
Важно то —
Что все страны
нам искренне
Руку пожали.
«Кто вы!
Кто вы такие!» —
Негромко спросил капитан,
Он-то знал, капитан,
Как людей океаны не любят,
А под нами шатался,
Гремел штормовой океан,
И Зиганшин ответил за всех:
«Мы — советские люди!»
Мы из тех,
Что родились холодной осенней порой,
Нас согрела в далекой дороге
Горячая скорость,
Мы прошли испытанья
И льдом,
И мечом,
И золой.
Раньше всех мы хлебнули сверх меры
И радость,
И горесть.
Посмотри,
Что за сила
К бессмертью тебя привела.
Чабаны, сталевары —
Рабочие новой истории.
Впереди еще будут дела!
И какие дела!
А пока
Поздравляй нас, Гагарин,
С победою!

Здорово!
Все цветы!
Все улыбки
Растроганной милой Земли!
Все плакаты!
Все флаги великих земных восстаний!
Молодые девчата
Тебе, дорогой, принесли!
Ветераны Земли
При твоём появлении
Встали!..

И босой негр на пыльной площади оскорбленного континента слушает, обратив лицо к небу. Он думает о величии человека.

Есть ли народ, который заставит мир склонить голову?

Но есть народ, который заставил человека поднять лицо к палящему и дождливому апрельскому небу.

СЛАВА ТОМУ НАРОДУ!

Апрель, 1961

1961-1962

ЯБЛОКИ

Л. Мартынову

...Приехал я в край,
где лишь пихты и ели,
где ели от тяжести неба присели,
где между стволами
ветры белели,
их называли так нежно: «метели»...
В землянку вошел (называли
«забоем»)
вошел, полметели втащив за собою,
недобро, вполглаза меня осмотрели
мужчины лохматые, как метели.
Я сел возле печки,
где буры и дрели,
лежали недвижно четыре недели,
ладони погрел,
рюкзак развязал —
и все повернулись,
и все посмотрели.
Откуда вдруг солнце
в холодней землянке?
Это теплее печки-временки
вспыхнул румяный,
сияющий запах,
и люди привстали на войлочных лапах.
Мужчины, лохматые, как метели,
злые на все за четыре недели,
в грубых ладонях яблоки грели,
яблокам в щеки,

как детям, смотрели —
арыки, ущелья, проспекты, аллеи!..
Мама, в саду так не пахли они,
как в эти таежные зимние дни.

ПЕЙ

Десять лет тому,
иль сотни лет?..
Хруст салфеток,
мягкий блеск фарфора.
Все встают,
в бокалы льется свет,
на стене краснеет тень узора.
Все стоят. Все ждут:
мы молча пьем,
торопливо, жадными глотками.
Горько! И посуду — кверху дном.
Слезы — рукавами,
не платками.
...Через сотни иль десятки лет?..
Хруст салфеток, мягкий блеск фарфора.
Все встают.
В бокалах тот же свет,
жизнь не может длиться без повтора.
Все стоят, все ждут.
Сейчас, сейчас...
Сколько мы гостей к себе назвали!
Раньше вас,
я выпью раньше вас!
Пусть вино меня, как раньше, свалит!
Где-то ты стоишь
бледна, бледна.
Может быть, ты вспомнишь

наш обычай.
Пусть вокруг — они,
Но ты — одна
выше всех
улыбок и приличий;
пей, не жди,
пусть — к черту этот пир!
Одинокий миг не потревожит
новый мир.
А прошлый?
Прошлый мир
на мгновенье раньше нами прожит.

«Почта, почта проклятая виновата...»

Почта, почта проклятая виновата.
Ты мне пишешь, я знаю,
ты пишешь мне каждую ночь.
Клеишь авиамарки,
бежишь до угла,
я не знаю,
почему эта почта
два года не хочет помочь!..
Я вернусь —
восемь суток на самом курьерском,
быстро ли?
Оторвусь хоть на час,
навсегда,
чтоб найти нашу дверь,
и стучать кулаками,
и ждать, замирая,
как выстрела,
щелк замка.
Я приеду,

умру, но приеду
теперь.
И клянусь,
если стала еще красивей за два года,
если я не узнаю
твою задрожавшую речь...
Береги тебя бог,
в этот миг я поверю в бога,
береги тебя бог,
если я не сумел сберечь.

ВОЛЧАТА

Шел человек.
Шел степью долго-долго.
Куда? Зачем?
Нам это не узнать.
В густой лощине он увидел волка,
Верней — волчицу,
А вернее — мать.
Она лежала в зарослях полыни,
Откинув лапы и оскалив пасть,
Из горла перехваченного плыла
Толчками кровь,
Густая, словно грязь.
Кем? Кем? Волком? Охотничьими псами?
Слепым волчатам это не узнать.
Они, толкаясь и ворча, сосали
Так странно неподатливую мать.
Голодные волчата позабыли,
Как властно пахнет в зарослях укроп.
Они, прижавшись к ранам, жадно пили
Густую, холодеющую кровь.
И вместе с ней вливалась жажда мести,

Кому?
Любому, лишь бы не простить.
И будут мстить,
В отдельности и вместе.
А встретятся — друг другу будут мстить.
И человек пошел своей дорогой.
Куда! Зачем!
Нам это не узнать.
Он был волчатник.
Но волчат не тронул —
Волчат уже
Не защищала мать...

ДОГОНИ^[2]

Догони меня, джигит,
Не жалея коня, джигит,
Если ты влюблен и ловок.
Конь догонит, добежит,
Я люблю тебя, джигит.
Догони же,
Поцелуй,
Голос от стыда дрожит
Среди этих звонких струй.
Меня ветер обгоняет,
На груди моей лежит,
Обнимает, обнимает,
Ой, опять отстал, джигит!
Издевается луна,
Я одна,
Опять одна,
Мои руки побелели.
Кровь по крупу скакуна,
Злые люди,

Злые люди,
Вы обидели меня.
Дали смелому джигиту,
Дали смелому джигиту
И красивому джигиту
Ишака,
А не коня!..

«О конь!..»

О конь!
Он гогочет, как гусь,
Он бушует бурой^[3].
Бурлящий горный поток
Не сравнится с его дыханьем.
Я печень врага
увидел в своих руках,
Табун украду и отдам
За коня вороного.
О зад вороного.
Как черное сердце, округл!..
Стокосые девы
От зависти горько плачут.
Их сладкие груди
Страхом и страстью полны.
Я молод и беден,
Я сыт этой жизнью
Собачьей.
Я хана в раба превращу
И сломаю хребет!
На тело его помочусь,
Без молитвы зарюю!
До синего моря с мечом
Без щита пролечу,

Отдай! Не отдашь — украду
Жеребца вороного!..

АРГАМАК

Эй, половецкий край,
Ты табунами славен,
Вон вороные бродят
В ливнях сухой, травы.
Дай молодого коня,
Жилы во мне играют,
Я проскачу до края,
Город и степь
Накреня.
Ветер раздует
Пламя
В жаркой крови аргамака,
Травы
сгорят:
под нами,
Пыль
И копытный цок.
Твой аргамак узнает,
Что такое
Атака,
Бросим
робким
тропам
Грохот копыт в лицо!..

ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ СЕРДЦЕ ?

История наша — несколько вспышек в ночной степи.

У костров ты напета, на развалинах Семиречья, у коварной, обиженной Сырдарьи. Города возникали, как вызов плоской природе, и гибли в одиночку.

...Я молчу у одинокого белого валуна в пустынной тургайской степи. Как попал он сюда? Могила неизвестного батыра? Или след ледниковых эпох?

Я стою у памятника Пушкину. Ночь новогодняя, с поземкой.

Я сын города, мне воевать со степью. Старики, я хочу знать, как погибли мои города.

...Сырдарья погоняет ленивые желтые волны.
Белый город Отрар, где высокие стены твои?
Эти стены полгода горели от масляных молний,
Двести дней и ночей здесь осадные длились
бои.

Перекрыты каналы.

Ни хлеба, ни мяса, ни сена,

Люди ели погибших

И пили их теплую кровь.

Счет осадных ночей майским утром прервала
измена,

И наполнился трупами длинный извилистый ров.

Только женщин щадили,

Великих, измученных, гордых,

Их валяли в кровавой грязи

Возле трупов детей,

И они, извиваясь, вонзали в монгольские горла

Исступленные жала изогнутых тонких ножей.

Книги!

Книги горели!

Тяжелые первые книги!

По которым потом затоскует спаленный Восток!

Не по ним раздавались

Протяжные женские крики,

В обожженных корнях затаился горбатый
росток.

Пересохли бассейны. Дома залегли под золою.

Можно долго еще вспоминать

О сожженных степях.

Только сердце не хочет,

Оно помешает мне, злое!

Чем тебя успокоить?

Порадовать, сердце, тебя?

...Чем?

Рыжий, кем бы я был, родись я немного раньше?

Юра, кем бы я стал десять пыльных столетий

тому назад?

Кровь, пожарище. Ур-р!

Я б доспехами был разукрашен,

И в бою наливались бы желчью мои глаза.

Я бы шел впереди разношерстных

чингизских туменов,

Я бы пел на развалинах дикие песни

свои,

И, клянусь, в тот же век, уличенный

в высокой измене,

Под кривыми мечами батыров

коснулся б земли.

На дороге глухой без молитвы меня б

схоронили,

И копыта туменов прошли бы по мне

на Москву,

И батыры седые отвагу б мою

бранили,

И, поставив тот камень, пустили б

стихи на раскур.

Простоял бы столетья источенный взглядами

камень,

Просвистели б нагайками добрые песни мои,

Оседлали бы горы,
и горы бы стали песками,
А вот Пушкин стоит.
О кипчаки мои!..
Степь не любила высоких гор.
Плоская степь
Не любила торчащих деревьев.
Я на десять столетий вперед
Вам бросаю укор,
О казахи мои, молодые и древние!..
Степь тянула к себе
Так, что ноги под тяжестью гнулись,
Так, что скулы — углами,
И сжатое сердце лютей,
И глаза раздавила ,
Чтоб щелки хитро улыбнулись.
Степь терпеть не могла
Яснолицых высоких людей.
Кто не сдался.
Тому торопливо ломала хребет,
И высокие камни валила тому на могилу,
И гордилась высоким,
И снова ласкала ребят.
Невысоких — растила,
Высоким — из зависти мстила.
Даже кони приземисты,
Даже волосы дыбом не встанут,
Даже ханы боялись
Высокие стены лепить.
И курганы пологи,
И реки мелки в Казахстане.
А поземка московская,
Словно в Тургайской степи.
Я стою у могилы высокого древнего
парня,
Внука Африки,

Сына голубоглазой женщины.
Собутыльник Парижа
И брат раскаленной Испании,
Он над степью московской
Стоит, словно корень женьшеня.
Я бывал и таким,
Я бываю индийским дагором!
...Так я буду стоять, пряча руки,
у братских могил...
Я бываю Чоканом!
Конфуцием, Блоком,
Тагором!
...Так я буду стоять, пряча зубы,
у братских могил...
Я согласен быть Буддой,
Сэсю и язычником Савлом!
Так я буду молчать у подножия братских
могил...
Я согласен быть черепом.
Кто-то согласен быть саблей...
.....
Так мы будем стоять!
Мы, Высокие, будем стоять!
Попроси меня нежно — спою.
Заруби — я замолкну.
Посмотри, наконец, степь проклятая,
Но моя —
Все вершины в камнях и в окурках,
В ожогах от молний.

РУСЬ ВРУБЕЛЯ

Край росистых лесов
и глазастых коней,

россыпь рубленых сел,
городов изваянья,
и брусничные ночи,
и россыпь огней.
Рсссомашьи размашистые расстояния.
Жизнь — и выдох сквозь зубы,
и радость, и грусть.
Глупость осени. Шубы.
И русое небо.
И морозы.
И странные взгляды Марусь.
И хрустящие, хрупкие
щеки хлеба.
Я могу перечислить —
и весь мой рассказ
Русь — река под обрывом,
и это не мало.
Ночь июньская. Ивы. И месяц, раскосый.
Я, как ты, задыхаюсь,
когда обнимаю...

НОЧЬ СВЕРШЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

Ночь.
Тепло.
На ковриках шепчут старики.
Месяц бровь приподнял,
Словно в удивлении.
Камни на стремнине
Бешеной реки
День и ночь свершают
Обряды омовенья.
Люди аллаху приносят
Дозволенные желания.

Люди настойчиво просят
Свершения ночных молитв.
Немного земного счастья
Вымаливают мусульмане,
В ночь Лейля-ули-кадр
Свет над землею пролит.
Пыль поредела на тротуарах,
Как борода.
Люди шагают.
Саманные стены мечети молчат.
Дети проходят мимо мечети,
Словно года.
В дряхлой руке минарета —
Гнутая тень меча.
Шелком чалмы развитой
белеет в траве арык,
Яблони моют корни
в седой воде,
В ночь Лейля-ули-кадр
Я, как старик,
По бетонным коврам площадей
Брожу и шепчу о тебе,
Да свершится мое желанье!

ЖАРА

Ах, какая женщина.
Руки раскидав,
Спит под пыльной яблоней.
Чуть журчит вода.
В клевере помятом сытый шмель гудит.
Солнечные пятна бродят по груди.

Вдоль арыка тихо еду я в седле.

Ой, какая женщина! Косы по земле!
В сторону смущенно
Смотрит старый конь.
Солнечные пятна
Шириной в ладонь.

«...Одна война окончилась другой...»

...Одна война окончилась другой,
Мой дядя, брат отца, ушел на фронт.
Ушел он добровольно? Я не помню.
Но помню — от бессонницы ушел,
От белых окон
И ночных испугов,
От резких-тормозов на повороте.
Он шел с мешком вдоль пыльного арыка,
А я бежал, цеплялся и просил
Взять в плен фашиста,
Если он не сдастся,—
Ударить шашкой,
Или так — на штык,
Или ногой в живот —
Пусть будет больно,
Порезать руки,
Чтобы крови хлестала...
Он сбоку поглядел в мои глаза,
Дед хмуро кашлял и плевал под ноги...
Все реже в домик приходили письма,
Потом пришло одно.
В нем говорилось:
Мой дядя пал хорошей смертью храбрых.
А я не понял,
И был счастлив я,
Увидев слово храбрый.

Дед не плакал.
Решил старик, застенчивый, угрюмый,
Проехать полстраны с голодным внуком,
Чтоб разыскать среди тысячи могил
Могилу сына.
Дед не разрешал
Сынам своим лежать в чужой земле.
Я помню — полустанок, зной,
бесхлебье,
Солдаты в пролетающих вагонах,
Разбитая земля, остовы танков,
Голодное ворье пустых вокзалов,
Сожженные деревья и коровы,
Разбухшие от порыжелых трав.
Я помню — реки, реки, реки,
Дожди, то моросящие, то ливни,
Стволы осин, дубов заплесневелых
И глина, глина, глина по колено.
Нам показали дядину могилу,
Она была за маленькой деревней,
Едва просохшей после серых ливней.
Над мелкой речкой — глиняный бугор.
Дед помолился, пожевал насвая,
А я глазел на глиняную землю,
Она была, земля, почти такую,
Как наша,
Только мокрой. Я запомнил.
Вокруг стояли жители деревни,
Одна из них казалась мне красивой,
С худыми, но румяными щеками.
И злая, как соседка. Я запомнил.
Мой дед не обращал на них вниманья,
Он снял бешмет и, обойдя могилу,
Вонзил лопату в глиняный бугор.
И женщины вдруг обступили деда,
Та, что была с румяными щеками,

Сказала. Я запомнил.
— Разве можно...
Здесь восемнадцать человек лежат.
Мой дед уже чуть понимал по-русски,
Он осторожно вытащил лопату,
Рукой погладил рану в черной глине
И вытер руку о сухой сапог.
Мы просидели день у тихой речки.
До темноты следили ребятишки.
Дед, плача, пел арабскую молитву,
А я гонял травинкой муравьев.

«Бетпак-Дала...»

Бетпак-Дала
Всегда такая голая,
Что стыдно лошадям смотреть в глаза.
Моя кобыла,
Отупев от голода,
Не слышит повода,
Глядит назад.
Нет колеи,
Бетпак-Дала —
Доро́га,
Ой, дорого ей заплатил казах,
Пустыня —
От порога до порога.
Все сто дорог.
Вели его назад.
Размеренная смена поколений,
Спокойное широкое седло.
Скупое равнодушное движенье,
Укачивая,
Всадника вело.

Над головою
Раскаленный камень,
Пустыня взбешена,
Копыта высекают желтый пламень
Из белой глины.

ХЛЕБНАЯ НОЧЬ

І
...Для иных —
Это песни,
Газеты,
Веселые фильмы,
Солнце всходит, заходит
За желтые горы зерна,
Край бездонного неба
И сказочного изобилья,
Для меня этот край —
Просто поднятая целина.
Край стандартных домов
И сырых полутемных землянок,
Край простуженных песен
И рева моторов стальных,
Древний край молодых казахстанцев,
Волжан, киевлянок,
Край, как пишут в газетах,
Живущий без выходных.

...Тьма и грохот,
И звезды над степью в пшеничной пыли,
И сухие валки
Шевелятся в стоваттном свете,
Те же длинные лица,
Чернее целинной земли,

Тот же запах солярки
И тот же сентябрьский ветер.
Хорошо?
Может быть.
Романтично?
Чудесно? —
Не знаю.
Где уж быть романтичности
В этой собачьей ночи?
Столько суток авралим,
А степь развернулась без края,
И штурвальный не слышит,
Хоть в ухо ему кричи.
Вы спросите его,
Если вы из районной газеты:
— Как работа? Как план?
Сколько выдано за день зерна?
Он угрюмо попросит
Махорочную сигарету
И кивнет на помощницу:
— Вот, растолкует она.
И опять за штурвал,
Рукава телогрейки наморщит,
Не мешайте —
Сегодня хорошая
Хлебная ночь,
Ровно-ровно работает валом
Усталый подборщик,
В бункерах оседает
Тяжелый пшеничный дождь.
О, не бойтесь
Нахлынувших, смелых,
Внезапных гипербол —
Эту землю не трогала
Тень деревянной сохи.
Плуг знакомого парня в тужурке

Считается первым.
Цифры — после,
Сейчас вы отдайте блокнот под стихи.
Так пишите скорее!
Свет фары достанет и вас.
Что?
Нетвердо перо?
И неровны тяжелые строки?
Но пишите! Пишите!
Мгновенье случается раз.
Пусть продлится оно
Через многие, многие сроки!
Мерно трактор ползет,
В бункер льется неслышно зерно,
Словно крохи холодной
Осенней росистой земли,
Опишите в стихах,
Как теплеет в железе оно!
Вы согрейте стихами
Озябшие зерна мои!..

II
Много разных прошло
Через нашу холодную
Степь,
Как богатый песок
Сквозь ковши промывальных машин,
В полночь — снег,
В полдень — зной
И уверенней ветер косой,
Ни дорог, ни домов
В бесконечной полынной глуши.
Приезжали под песни,
Круша каблуками перрон,
А ушли, как песок,
Кроме самых надежных парней.

Проверялся на людях
Великий научный закон—
Не набор,
Но отбор.
Так, сказали мы, будет верней.
Пусть художника после
Ругают за бедность тонов,
За тяжелые краски,
За скупость упрямой палитры,
Мы в жару не сменяли
Замасленных ватных штанов,
Мы, бывало,
И воду на сутки машине —
Пол-литра.
Грубо?
Да!
Если в холст упереться глазами
Вплотную,
То увидим лишь рытвины
Темных остывших мазков.
Отойдем и —
Клянусь! — мы увидим картину
Такую!..
Море яростных красок!
Море без берегов!
Люди, люди нужны,
Те, которые знают работу,
Те, которым плевать
И на грязь,
И на холод ночей,
Степь не может пока
Обещать материнской заботы,
Пусть же парни привозят
С собою заботу о ней.
Вы в горстях ощутите
Пожатые колючего хлеба,

Вы научитесь плакать
Над каждым сгоревшим зерном.
А какое у нас беспокойное синее небо!
Люди! Люди нужны!
Приезжайте, ребята!
Мы ждем.

III
Посмотрите,
Он встал,
Нет, он так же сидит за штурвалом,
Почернелый, усталый,
Ему бы на сутки прилечь.
Трактор так же ползет,
И подборщик ворочает валом,
Но какую-то резкость
Я вижу в движениях плеч.
Трактор так же ползет,
Но все медленней полнится
Бункер,
Вдруг подборщик мотнул
Вхолостую глухой оборот,
И тогда он привстал,
Потянулся, как после побудки,
И спросил, улыбаясь:
— Ну, как, не уснул мой народ?
Тракторист пил из кружки
Холодную черную воду,
В ней плескалась луна,
Растекаясь по мокрым губам,
Мы по ветру гадали на завтра
Сухую погоду,
Отсылая дожди
Асфальтированным городам.
Мы закончили поле,
Другое легло перед нами,

Нам настала пора
Оглянуться на пройденный путь.
Каждый день,
Каждый час
Мы сдавали труднейший экзамен,
Мы устали порядком,
Кто хочет передохнуть?
Мы закончили поле,
Другое легло перед нами.
Кто согласен
Сегодня на этом гектаре кончать?
Тракторист,
Заводи!
Пусть луна, как светящийся камень,
Освещает нам путь
По глубоким осенним ночам!

НА ЛИВЕНЬ — С САМОЛЕТА

Может быть, над океаном дождь,
Но внизу проклятье желтых глин,
Каспия неполный; горьким ковш
У горячих губ моей земли.

Ржавые сухие облака,
Словно взрывы жажды неземной,
Волнами зарезанный закат,
Весело дымя, летит за мной.

Ползает подслеповатый дождь
На коленях перед морем глин —
Виноватый, старый; нежный муж
Молодой неласканной земли...

«Париж!..»

Париж!..
Три часа от Москвы — не поверишь!
«Каравелла» парит,
словно голая ходит по берегу.
Пальцем трогает море — холодное,
а под волнами —
древний остров,
рыбы плавают вдоль колонн
острые.
Атлантида моя, Париж.
Я увижу себя в Париже,
водолазом пройду по улицам,
где-то амфору подниму,
буду гостем твоим — наилучшим,
хочешь, буду счастливым случаем
или тысячным — потому!
Архитектором добрых знаний,
археологом древних ребусов,
я, любовник, иду на свидание,
не скрывая веселой ревности.
В Лувре — лучшим твоим художником,
острым вдохом твоим табачным,
в душный полдень — дешевым дождиком,
я ведь знаю, как это важно...

ИЗ ОКНА ОТЕЛЯ

По улочке ходит спокойно ажан.
Из-под плаща — автоматное дуло,
Алжирец метлою рвет мостовую,
Даже ей не согласен прощать.

Раз проходит ажан.
И другой раз.
15 августа ультра объявили атаку.
Раз — проходит ажан мимо дворника.
И другой раз.
Алжирец с размаху пинает
лающую собаку.
Хозяйка — в бешенстве.
О ажан!
Полицейский лениво подходит.
(Я гляжу из окна.)
— Пардон, мсье.
Алжирец ставит метлу к стене
и, вытерев руки о полы,
Берет сигарету из пачки ажана.
Курят, перекидываясь взглядами.
Улочка пуста.
Узкая дама сердито ушла.
Мужчины смотрят ей вслед
И угрюмо подмигивают друг другу.
Хороша!
Худой небритый алжирец и розовый рослый
ажан
Бросают окурки на чистую мостовую,
Полицейский, насвистывая, отходит,
Из-под плаща — автоматное дуло.
Ах, ажан!
Алжирец берет метлу, подметает
Окурки и осторожно
Под пиджаком поправляет
Теплую рукоять ножа.

НОЧЬ. ПАРИЖ...

I

Сена спасала многих от смерти бесчестия,
Сена...

Сена принадлежит тем,
по ком никто не заплачет.

Кто сам изменял и боялся чужой измены,
у кого счета не оплачены,
кто не дождался сдачи.

Сена — живая-заплата
на черном сукне города.

У многих, стоящих со мной на мосту,
простужено горло.

Кашляют.

У изголовья спящей истории
стоят в карауле почетном
скорбные кредиторы.

II

В моем блокноте четыре последних доллара.
Последняя ночь в Париже.

Надо потратить с толком.

Девушки, как ягнята, смеются в долг.

Бормочут мужчины ласковые,
как волки.

Есть в каждом городе главная улица —

Мейн-стрит,

где ходят быки

или черными колоколами плывут «кадиллаки».

Мальчишки ругаются на сорока языках,
арык,

И на черном небе ширится полынья.

След позабытых кочевий — четкая тень,

улица, как гексаметр долгий,

без точки.

Черное — для кого-то ночь,

для азиата — прохладный день.

Этот гекзаметр стоит
ломаной строчки.
В каждом городе — площадь цветов
Да земля опыленная.
Розы белые, черные, синие там растут,
розы красные, и багровые, и зеленые,
только розовых нет
тут.
Ночь мне явится розовой,
ночь — мое плотское пламя,
мой эгоизм.
Ночью прохладно,
ночью я восхожу на вершину
собственной тени.
Ночь моя — родина подлости
и героизма,
ночь — чернозем,
на котором восходят гены.
В самом богатом
и ярком городе-взрыве
есть переулки, где прячется тень,
самый веселый и башенный город Рио
не обнажен до конца.
В его переулках — окаменелый стыд,
тенью он притаился в подъездах,
в складках лица
неподвижно стынет.
Можно построить скайтскребы
выше, чем память!
Выстрелы, топот, смятение.
Пробежали.
На тротуаре тени всплеснулись
дико.
И снова тихо.
Рядом стреляют, бегают, режутся
парижане!..

Ночью на площадях дико!
Вот площадь Согласия!
Улица Жертв и Поэтов улица,
но главную улицу — Мейн-стрит
я назвал бы улицей Неизвестных.
Много прошло неузнанных,
стали в тень
и сутулятся.
Ждут предрассветной немочи.
Выскочат —
бесами.
Ближе черта равновесия —
улица Неизвестных.
«Париж — это город музыки,
воинов и любимых!»
Ночью бунтует
мир крови,
требует перевеса.
Утром Париж подсчитает
поэмы,
жен
и убитых.
Сена несет острые глыбы фосфора
вверх по течению.

ЛУВР

Я люблю тебя, Франция.
Твоим именем звали всех интервентов —
фрэнгами,
Твоих рыцарей прадед арканом
Из седел таскал,
И над грудой изящных желез
Замирал с инструментами,

И такая в глазах
Удивительная тоска.
Я по залам брожу бесцельно,
На алмазы гляжу бесценные.
Удивляюсь:
«Ну где же ты, Азия?
Может быть, в этих чистых
алмазах?
В этих узких мечах двуручных,
Что ковались тебе навстречу?
Ты когда-то дошла до Двуречья
И замолкла.
А кто нарушит
Твое медленное молчание?
Кто, великий, дойдет до Запада,
Завоюет,
Но не мечами.
Эти залы,
Пустые залы?..»

ЖЕНЩИНА

Когда впервые пройдешь по Бродвею, на тебя
смотрит все. Толпа, дома, желтые такси, магазины,
распахнутые рты баров и женщины.

Бродвей — залитая огнями сцена,
здесь каждый ждет признания и славы,
здесь нет ни деда, ни отца, ни сына,
все равные —
и сильные и слабые —
в трагедии. А действие идет.
Всем хочется на сцену.
И скорее,
чтоб видели, какой ты идиот

или великий,— только бы смотрели.
У каждого высокая душа,
любой из нас актер,
когда — на сцене.
Не надо нам, беднягам, ни гроша,
мы — гении,
когда
нас
ценят.
Когда последняя надежда — мы,
когда нас молят
яростью оваций,
мы откровеньем ослепим умы!
Взгляните на меня,
когда мне —
двадцать.
Ага, попалась,
вот и посмотрела,
голубоглазая или голубовласая.
На белой коже тонкой акварелью
написаны глаза,
а брови — маслом.
Глядит!
Гляди,
я выпрямляю плечи,
отчаянно выпячиваю челюсть.
В толпе толкают,
я шепчу: «Полегче».
К лицу, краснея, приливает
Честь.
Вы видите,
я выпрыгнул на сцену,
во мне играет боевая краска,
глядят голубоглазые, косые,
пожалуйста,
теперь смотрите —

здрaсте!
Зaмечeнный oбязaн быть
огромным,
я прохожу, уверенно кивая.
Ты сделала меня таким нескромным
и улыбаешься, не понимая
Ни-че-го!

ЛИВЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Душно. Люди. Июль.
Дождь вцепился в бетон;
Припаял свои желтые струи к стеклу.
Город молча бредет.
По колена — Гудзон,
Город рот утирает,
Прислонившись к углу.
Я смотрю ему в зубы,
Как смотрят коню.
Это желтые струи грызут мои окна.
Поброжу. Выхожу.
Дождь на парк-авеню.
Я твой гость.
Ты намок.
И я тоже намокну.
Душно. Дождь.
Я бреду по колена,
Мне на руки просится мутный ручей.
Ему так одиноко, степному,
Средь каменных зданий.
Америка!
Это ты затерялась крохотным пламенем
Под ногами теней!
— Ты чей?

Я молчу, пробираясь
Между задами автомобильных трупов.
Желтый день. Ливень. Сель.
Я стою наконец под навесом
У входа в отель.
С визгом женским машины,
Машины взлетают из желтой гущи,
Вылетают на сушь.
И отряхиваются, как гуси.
Расселина между домами
Ветрами полна.
Вихри воды по лицу
Сапогами колотят.
Голубая машина
Барахтается, как волна.
Голубая волна океана.
В желтом болоте.

НОЧЬ НА НИАГАРЕ

Такая целомудренная ночь!
Она испуганно глядит из теней сосен.
О лунный луч,
Словно отцовский нож,
Дорога белая, как тень Иисуса.

...Дрожит, локтями упираясь в мох.
А тишина такая грозовая!
Рванулась из объятий,
Только — ох!
Бежит,
В просветах телом розовея!

Скользит на мокрых черных валунах.

Вскочил. Кричу.
И сам себя не слышу.
Как мачеха над ней летит луна,
Свирепая, сиятельная, рыжая.

Девчонка-ночь!
Постой! Бегу. Постой!
Она глазами черными взглянула,
Она власами черными взмахнула.
Ладонями дрожащими укрылась
И стала, улыбнувшись, под луной.
Надменная от белого стыда.
Стоит нагая на краю обрыве.
Я подошел.
Вода проносится, белея черной гривой.
Мешая годы, сны, меридианы.
Я молодой.
Но рядом с нею старый.
Я ночь целую.
Словно индианку,
С гортанным именем —
О Ниагара!..

ЧИКАГО. В МУЗЕЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Трубка из яшмы украшена перьями
горных совят.
Трубка Мира похожа на черный
чубук чукчи,
чучела даков
курят и держат Верховный совет,
широкоскулые, узкоглазые, как Джучи.
На здоровенных кедровых стапелях
пирога-каик,

воины в скальпах,
толстые копья, в коже — ножи,
впередсмотрящий —
желтый худой старик
напоминает гадалщика из Кульджи.
Отодвигая левой рукою степь,
чуть наклонившись, туго пружиня в ногах,
вождь засмотрелся в глаза неоновых стен,
что-то язычнику чудится
в странных ночах.
Бродишь по залам, рядом бредет тишина,
локтем коснешься случайно —
голову кружит.
Желтые экспонаты.
Декоративная тишина.
Кажется, люди только и знали,
что делать оружие.
Стройные луки
и наконечники из халцедона,
а томагавки какие —
с серебряной чернью!
Алмазы, рубины,
дубины по мегатонне!
Не все ли равно, чем ударить
по хрупкому черепу!..
Ведь все уравнилось,
мертвым уже не помочь советами,
жаль, что одно
никогда
не увидят они:
трубки Мира, украшенные совятами,
робко прижились
в яркой витрине Войны...

«Вожди индейцев пришли на обед...»

Вожди индейцев пришли на обед
к французскому губернатору,
их мало осталось после побед
французского губернатора.
Мундиры сияют. Хозяин учтив.
Курчавятся белые скальпы,
шутник-адъютант, длинноногий
штатив,
сверкает, заботится, скалится.
Мажет горчицей хрустящий хлебец,
вождю подает с улыбкой,
он знает, лощеный парижский
подлец,
как верят индейцы улыбкам.
Индейцы раскрашены под образа.
Чинно, как на дуэли,
ели индейцы, закрыв глаза,
и мужественно доели.
Никто не смеялся.
Никто не хрипел.
Молчал губернатор,
а Тана,
жена губернатора,
мажет хлебец
медленно-
медленно,
для адъютанта...

ИНДЕЯ

Я видал над Ниагарским водопадом радугу; и в
солнечный день и ночью в цветных прожекторах — алая

радуга.

I

«Где в ночах шелестит
голубая трава Аяганга,
одуванчик Бакбак
и по озеру — лилия Лала,
где черные камни,
оторванные от гор,
зовутся негромким, гордым именем — Скалы.
Совята мои улетают в густую траву Аягангу.
Тоскуют по лунам багровым бесплодные жены.
А там, далеко-далеко-далеко за Хинганом
одиноким плачет верблюжонок...»

II

Будь я вождем
и Хранителем Воинской клятвы,
над Ниагарой сказал бы вам, старикам:
«Дети мои, крепкореберные совята!
Вспомним траву Аягангу на берегах!
Вспомним костры и песни, которые пелись.
Мы грызли кость, не поднимая глаз,
Ы-х!
Рубили!
Мы в пыли хрипели,
жеребцы обнюхивали нас.
Снятся нам — трава и кобылицы,
губы их железом отдают.
Нюхая изрубленные лица,
кони от волнения поют.
Хилые стояли у костра,
отвечая беспощадным воем.
В душу заползал хороший страх,
и потел, и озирался воин.
Труссы, цепенея, повставали:

— Дай коней, отвага!

— О атака!..

Женщины в молчаньи танцевали,
грубыми качая животами.

Вой все поднимался, поднимался,
воин убивал и убивал.

Женщины совсем не понимали
то, что воин недопонимал!

III

Мы от берега тихо отходим,
нас кидает опять на скалы,
нам сыны оправданья находят,
чтоб самим не раскаяться.
Что же! Пусть наводнение. Не беда.
Пусть наливаются илом и рыбами города,
это — счастье пустытника желтого!

Это — вода!

Пусть нас мутит похмелье,
мы, как отцы, кутили,
красную теплую влагу
мы, как умели, пили.

Пусть на траве черствеют
мощные их тела,

пусть молодые пчелы
пьют пьянящий нектар.

Пусто в холодных залах,
ох и дела,

утром опять вороны протяжно орали — «кар!»

Жизнь, ты беспечна, как Ниагара,
ты пробиваешь в граните русло,
чтобы свалиться с криком на камни.

Хочешь в истоки вернуться,
грустная!

О Ниагара!

У, Ниагара!

А-а-а!
И падение после удара.
Падаешь?
Пыль водяная и грохот,
если упасть с высоты, то
с огромной!
А над адом горит, не сгорая,
алая радуга, о Ниагара!
Разве не счастье — так умирая,
в чьем-то сердце оставить
радость?..

«Я таю над ночными городами...»

Я таю над ночными городами,
Их много, молчаливых, под крылом,
Огни земные, как снежинки, тают,
Годами оседая над огнем.
Я пролетаю над ночным Парижем,
Огни, все те же рыжие огни!..
Упав лицом в иллюминатор, вижу,
Что мне знакомы издавна они.
Кизячными кострами полыхают
Приморские чужие города,
Над миром ночь как будто неплохая,
Огни мелькают,
Мечется радар,
Напоминая нам,
Что все спокойно.
Глаза ночей, подкрашенные хной.
Внизу трава полита темнотой.
Костры. Луна. И ожидают кони
Пронзительного выкрика: «Атой!»

Я пролетаю,
Словно в планетарии,
Огни мерцают, тайны отдают.
Укутав ноги, женщины читают.
При свете ламп историю мою.
Не все бывает в нашей жизни важно.
Огни. На всем пути молчат огни.
Иллюминатор от тумана влажен,
Растут, сливаясь.
Частые огни.

АФРИКАНСКИЕ РИТМЫ

А. Алимжанову

Два часа в негритянском театре на Бродвее.
Темная мягкая сцена,
поблескивающая
агатовая женщина уселась,
обняв колени,
на берегу вставшего стеной океана.
Молодые негры в зале
выплывают жвачку и плачут,
топая ногами:

I

— Позор! Я лицо потерял. Оно черное.
Кафр. Неверный.
Мою Африку; милую Африку
рожденные мною веры назвали—
Адом.
Африкой мы угрожала
бледным адамам, бедным муслимам,
птицам, гадам.
Кипели в пенной смоле грешника-солнца

черные черти.
Века позора ползут по пятам. Кафр.
— Ты хороша ночами; необычная,
тело твое лоснится.
Чуть шевелит плечами,
ветви впечатаны четко
в небо густое, чайное...
Тайны нечаянно к горлу
стаями подступают,
тихо луна тает,
тени плотны до глянца,
сонно бормочут в клювы забавные попугаи,
трескаются в ущельях
остывшие сланцы.
Устья рек, лохматые,
теплые, словно лоно,
мутно открыты напоры ночных океанов,
в чаше берберского неба
ворочаются биллионы,
снова кричат океаны
за занавеской лиан.
Мы — пастухи своих дней —
кочуем,
качаемся в седлах,
падаем раньше стад.
Мы отдадим своим дням
золото, тело, стыд.
Пьем из ручьев холодных,
размягшее мясо стынет,
стадо уходит, блея.
Падаем раньше стада.

II

Белая женщина, как негритянка, незаметна
в нью-йоркской ночи. Она сливается цветом
молчания

с тоской уставшего города.
Сидит, обхватив колени, на берегу океана.
Я оглядываю притихший зал. Негры подавленно
смотрят на черную яркую сцену.
Мечь режет белых в Нью-Йорке, насилует
женщин, как в джунглях Центрального парка
земли.
Воздух Америки — сладкий дымок гашиша.
На электрическом стуле и в гибкой веревке
линча
вы скорбны, как в этом зале. Вы смотрите на
искусство —
на доброго палача.
Удары тока. Рывок петли. И — бескожие души
ваши
банановой коркой стучат о рифы дальнего
берега.
Родина ваша — Америка. Вы защитите
ее, как всегда защищали.
В братских могилах, на смешанных кладбищах
самоубийц,
вы — хозяева. Удары тока. Рывок петли.
И грешные птицы, дав круг над любимой
Америкой, улетают
с радостным кликом на остров счастливого ада.

III

Родина! О Негрия моя!
Громадных манго легкие кроны,
алых акаций знойные тени,
тунцы,
ананасы,
бананы,
базары,
женщины,
стройные,

как растения!
Мчатся автобусы мимо саванны,
барабаны стучат,
баобабы торчат,
чистые зубы на черном лице:
«Мой негритенок вылез из ванны,
съел банан и помчал в лицей!»
В этой деревне конусом хижины,
туго на бедрах солнце расстелено,
вон крокодилы смотрят обиженно.
Слушай — поэты хохочут растерянно.

IV

...Ритмы гремят —
это на яркой сцена,
голая, черная,
плавно ведет животом.
Страстные шутки зала,
сало рецензий,
бубны и саксофоны.
Ну!
А — потом!
Черный и тонкий,
звонкий Джин Круппе,
пальцы нервные,
ноздри крупные,
как пулеметы, трясутся палочки,
хриплые кличи пляшущих парочек!..
Вышел из зала;
небо как негр,
звезды как пот на щеках барабанщика,
градусов семьдесят по Фаренгейту,
парни, похожие на карманщиков,
пьяные,
с тусклыми лицами гениев,
в бары заносят плотные тени.

Бары в подвалах, как бомбоубежище.
В Америке —
бешеное веселье...

1962-1963

РИШАД, СЫН СТЕПНЯКА

Я дарю тебе тюбетейку,
Перевитую нитью золота,
Твой отец отвернулся молча,
Так, наверное, помнят молодость.

Мать красивая машет пальцами,
И лепечет,
И восторгается.
Ришад очень похож на испанца,
Сын француженки
И адаевца^[4].

«Вы поедете в штат Небраска?!
Там такие прекрасные прерии,
Там колючки, жара и кочки,
Пыль и кони такие! Прелесть!
Вы поедете?»
Жадно смотрит
И руками картину лепит.
Люди летом уходят к морю.
Его тянет в сухие степи.

В стремя — хоп!
Отшвырнуть сомбреро!
Ветер черные волосы — в клочья!
Тюбетейку — на лоб,
Карьером,
Перепадом по тропам волчьим.

Задыхайся, кричи, мой мальчик,
Страсть поэта — и плач и хохот.

Твой отец наконец-то плачет.
В моих жилах грохочет холод.

Я поехал бы в штат Небраска,
Но мне надо спешить на родину.
Там такой же пейзаж неброский,
Я поеду к себе на родину.

Я поеду в адайские прерии,
Там колючки, жара, морозы,
Пыль и кони такие! Прелесть!
Я поеду к себе на родину...

РЕЙС СВОБОДЫ

В автобусе с коричневыми стеклами
Колотят парни кожу барабанов.
— Куда автобус?
Девушки высокие зовут меня и манят:
— В Алабаму!
Монах веселый с грешными глазами.
Студенты в шортах,
Женщины в панамах.
Галдят,
Поют густыми голосами
Мотивы Африки:
«О Алабама!»
Я подсел,
Они шумно теснились,
Предлагали мне лучшее место:
— Рядом с самой красивой, мистер!
— Места много. Не все явились. —
Места много. Но надо трогаться,
Ждать вам некогда.

Время странное.
Вот рука моя на дорогу.
Мне так хочется в Алабаму!
Вместе с вами принять участие
В честной драке за чье-то счастье,
Я умею.
Я так-воспитан.
Кто-то весел, а кто-то — избитый...
Извините.
Вот рука моя!
Пячусь с подножки
На нью-йоркский бетон горячий,
Я из автобуса, как из ножен,
Вышел в расцвеченную толпу.
Кто-то кудахчет,
Кто-то судачит.
Чья-то толстая мама плачет.
Привалившись спиной к столбу.
С тротуара машу, как с берега.
Они долго и долго смотрят.
Молодые глаза Америки
Уплывают в лихое море.
Я пошел по Нью-Йорку веселому,
Напевая под нос «Алабаму».
Даже толстые негры высокие
Пожимают плечами и лбами.
Я уехал бы в том автобусе,
Как на фронт уходили, мама!
На покатом и скользком глобусе
Все сегодня поют «Алабаму».

«В южный город на лето...»

В южный город на лето
приехала девочка,
две косички,
два бантика пышных и белых.
Дивная девочка,
звать ее — Белла.

Аборигены знают, что делать,
Вымыли шеи, надели сандалии,
ходят под окна, кричат, выхваляются.
Дворники как-то
им крепко задали:
в жилкомбинате не допускается.

Девочка все же
с одним подружилась.
Каждое утро приходит под окна,
маленький, робкий,
и, напружинясь,
тихо орет, озираясь:
— Бел-ла...

Девочка белкой сбегает по лестнице,
за руки взявшись,
мчатся на речку.
Мама считает сумму полезной:
солнышко, воздух, водичка
и девочка.
Как-то случилось. Пришла телеграмма.
Девочка с мамой — ночным самолетом.
Лето не кончилось.
Утром рано
смуглый малец, как обычно:
— Бел-ла...
Я выхожу на балкон,
наблюдаю.

Мальчик спокойно скандирует:
— Бел-ла...
В полном параде —
в новых сандалиях,
в чистых трусах по колена:
— Бел-ла.
Я надругался:
— Она улетела.
Малый взглянул снисходительно.
Парень.
Буркнул (наверное: «Не твое дело»)
и затянул свою арию.
Каждое утро,
вы не поверите:
голосит под окнами
тот сирота.

«Пес сидел на цепи весь век...»

Пес сидел на цепи весь век.
Он охрип, одряхлел, шкура — войлоком.
Как-то вышел во двор пожилой человек.
Пес не взлаял, пошел, ноги волоком.
Руки лижет
и крутит обрубком хвоста.
А когда-то был славный хвост!
Человек не был пьян,
он себя опростал
и подумал:
«Паршивый пес...»

И подумал: «Собака уже, а не пес...»
Снял ошейник и дал пинка.
Он с ненужными был в обращении прост,

просто взял и намял бока.

И собака пошла, кособочась, рысцей.
Двор пустой. Листьев куча. Забор.
Если б видел хозяин собачье лицо
в этот миг!

Ах, какой-нибудь вор
вышиб доску бы из забора!..
Воры были на счастье —
собака нашла под забором
большую нору —
и на брюхе, ползком, не дыша,
со двора
в мир какой-то,
в чужие просторы.
Как ударили странные запахи в нос!
Он чихнул и метнулся к столбам.
О, уже не собака —
матерый пес
нелюдимо глядел из-под лба.

я
Жадно нюхал
и склады костей разрывал,
он впервые как пес поступал незаконно —
верный сторож
бродягой в ночи воровал.
Нет, он грабил
и молча бросался на конных.
...Он вернулся под утро.
Пролез.
Обошел.
Листьев куча. Сарай. Забор.
И уснул.
Черт возьми, хоть какой-нибудь вор!..
Пес услышал спросонок:
— П-шел!

И — пинок.
Он клыками за ногу — р-раз,
Видно, сны ему снились хорошие.
А хозяин — бегом
и с крыльца между глаз
из берданки.
— Сбесилась собака...
Пес лежал без цепи,
шелудивый, худой.
Шерсть свалялась на бедрах,
как у барана.
Котелок почерневший наполнен водой.
Волчьи сны вытекали, краснея, из раны.

«Ночи августа...»

Ночи августа,
Уходите, но помните —
Нет чернее ночей.
Ветка яблони надо мною приподнята,
Ночь пахуча, как чай.
Рот открой,
И невидимо в горло
Проберется ручей,
И течет по зеленому городу
Этот час.
Ветка яблони,
Как завеса, приподнята,
В черном небе — огонь.
Морщу лоб, я стараюсь припомнить
Имя этой звезды.
Марс. Наверное, — Марс!
У сарая откликнулся конь,—
Вороной мой Джульбарс

Тихо звякнул железом узды,
После пыльной дороги
Усталость. Прохлада. Сон.
Небо звездное — конусом,
Как продырявленный шлем,
Самой яркой звездой
Полыхнул и повис над лицом —
Марс, наверное, Марс!
Перезрелый, прозрачный плод
Ветку яблони тянет и давит,
Ломает и гнет.
Ночи августа,
Уходите, но помните:
Нет светлее ночей.
Еще многое, многое мною не понято,
Ночь пахуча, как чай.
Брошен старый ковер
На густую траву типчак,
Мрак стоит за стволами урючин.
Как вороной,
Голова на седле... А седло пахнет
Потом и пылью...
И примятые стебли ворочаются подо мной.

ОН БОРМОЧЕТ СТИХИ...

Слово — медленный блик человеческого
поступка.
Высоту, глубину и цвета извергает язык.
Повторятся в словах и глоток,
И удар,
И улыбка,
Стук копыт через век
И наклон виноградной лозы.

Эту черную ночь
Я опять принимаю в сообщницы.
В эту ночь я услышал неясный луны монолог,
А на красный язык,
Как на свет,
Пробирается ощупью
И полощется в горле
Белого слова клочок.
Я сейчас закричу,
Я нашел!
Я хочу его выставить!
Пусть луна продолжает на тенях
Судьбу гадать.
Этот матовый свет.
Будто вспышка далекого выстрела,
Обнажает лицо,
Опаляя меня на года.
Не нуждаюсь в пощаде глупцов,
Не покорствую мудрым.
Слово бродит в степи,
Чтоб нечаянно встретить меня.
...Он бормочет стихи. Так молитву читают
курды.
На скуластом лице отсвет медленного огня.

ГРАНАТ В ПЕСКАХ

Прозрачный, твердый,
красный мозг граната.
На кустике — громадные плоды.
В пустыне невеселой, как латынь,
краснеет куст таджикским рубаятом.
И я под ним сижу, чернее негра,
в тиши тысячелетий, глажу грудь,

наверно, здесь я сел бы отдохнуть,
идя из неразрушенного Мевра.
Гранаты можно срезать и продать,
гранаты могут вырасти опять.
Сто маленьких голов на тонкой шее,
похожей более на ногу Нетто,
сто алых, раздражающих голов,
забитых в неожиданное небо.
Ремнем экватора затянут шар,
кому-то он прошел по узкой талии,
кому под грудь, под плечи и так далее.
А здесь по горлу узкий поясок,
песок, песок — как будто все старатели
за все века несли сюда старательно
пустой песок...
Я глажу алый сок,
я, истощенный актами пустыни,
не протестую, не сопротивляюсь
цветам граната,
зернами тугими
спрессован сок,
а в глубине плода
таится тень, отброшенная соком...
Не скрою, одному в прохладе слов
так хорошо!
Кишлак собою занят,
он варит плов, не слушая ослов,
ослы себя подслушивают сами.

НОЧЬ В ПУСТЫНЕ

Нет росы,
Удивительно, нет под руками росы,
На безвольно холодном песке,

На лице и на войлоке —
Нет росы,
Волны камня измолотого
Спокойные, как часы,
Изнывают под зноем
луны полуночной.
И нет росы.
Босые шакалы в песках хохочут,
Что нет росы.
Скелет саксаула кричит, белея,
Что нет росы.
Алюминиевый свет обнажает
Разбухшие груди пустыни,
И нет красы
Человечней тоски барханной
По капле росы.
Луна остынет,
И дальняя кромка восхода
Взорвется солнцем...
Зачем?
Роса на лице одинокого человека.

«В Поволжье снова сушь, земля желта...»

В Поволжье снова сушь, земля желта,
пшеницей называется солома.
Я гость огромного села Жельта,
торчащего над плоскостью изломом,
оазисом угрюмым. Арыки
глубокие, сухие, как морщины.
В запруде, в желтом киселе реки,
купаются веселые мужчины.
Пылит в степи райкомовский «газон».
В бригаде тихо плавают комбайны.

Вода расплавлена, степной озон,
как войлок, нависает над купальней.
Рубаху стягивает агроном,
он худ, стесняется полей колхозных,
он удручен (жену отвез в роддом).
С обрыва в воду прыгает в кальсонах.
Э, засуха, отчаянное зло!
Не рассчитал (река мелее стала).
И с вывихом коленного сустава
его, смущенного, везут в село.

ТОНКИЕ ОРЛЫ

Ползут над полем толстые орлы,
летят по полю тонкие орлы.
Орел, он думает, что все — орлы,
у каждого подозревая горло.
Он с сусликом дерется,
как с орлом.
Сожрет и думает:
«Какой он горький!...»
Их —
«беркуты,
стервятники,
ягнятники».
Орел, он не увидит своей тени,
добыча видит тень его огня.
Тень — плоть его,
а он — виденье тени.
По небу стелются орлы тяжелые.
А по земле,
травы не тронув,
не царапнув глины,
темно-зеленые и темно-желтые

несутся тонкие орлы углами
по круглой плоскости своей горы.
Орлы уйдут.
Опять желток и зелень.
Степь — горы без вершин и без ущелий,
без острых ощущений Бухары,
ни гром, ни молния,
не встали и не сели.
Спокойный ужас солнца
и орлы.

«Хрипло поет о любви старик...»

Хрипло поет о любви старик,
Почесывая домбру;
К юрте-, прислонена
Чаша пик,
Усатый скуластый круг.

Трется об юрту пыльный ишак,
Кони лягают псов,
Люди покрикивают
в такт
Грустных кипчакских слов.

Мясо остыло,
Серый айран
В чашах цветных уснул...
Блеет в предчувствии пира баран...
Завтра prospit аул.

«Вблизи Чингизских гор его могила...»

Вблизи Чингизских гор его могила,
Исколотая желтыми цветами;
Голодными, немилыми, нагими
К могиле приходили на свиданье.

И пили, усмехаясь, горечь песен,
И, колыхаясь, колебались травы,
Цветы желтеют грустно,
Как отравы...
Вблизи Чингизских гор его могила.

ХРОМОЙ КУЛАН

Дикие кони в степях Джетысу!
Жмутся в долинах,
Вдруг — на курганах.
Тучи храпящие ветер несут,
И-и-и,
Заливаются конским «ураном»^[5].

Грохот протяжный.
Следом за солнцем.
Рвутся копыта по солонцам.
Черный вожак,
ковыляя, несется
И-и-и,
Выкипает кровь жеребца.

Черный вожак.
Сохранивший стадо
в джут^[6],
С перебитой в битве ногой,
Умница старый,
Скрывая слабость,

Гонит куланов на водопой.
Каждую ночь он стоит на кургане,
Ногу подняв,
Охраняет табун.
Кони клялись ему на коране
В верности вечной,
Клятвой табу.

Бег укорочен.
Дробно по кругу
Гривы толпою за вожакom.
Крупам потными давят друг друга
Не обгоняют Хромого —
Закон.

Травы затоптаны,
Взболтаны реки,
Первым хромой по воде зашагал.
Пьет.
Отдыхают низкие веки,
Ногу в воде незаметно поднял.

Стадо притихло.
Нюхает. Страшно.
Где-то рождается запах волков.
Пей! Не волнуйся.
Стадо на страже.
Белые волны — как молоко.
Дикие, да.
Но не стукнет копыто.
Бродит под шкурой начало чувств.
Я заарканю куланов для битвы
И благородству у них научусь.
Он успокоился.
Вышел на берег.
Телом тряхнул и пошел на бугор,

Кони рванулись,
Ты не поверишь,
Встали, и волны вот так —
До горл.
Реки степные пересыхают,
Вниз по течению в час водопоя
Жрут разгоряченные,
Вдыхают
Воду Тентека дикие кони...

МОЛИТВА БАТЫРА МАМБЕТА ПЕРЕД КАЗНЬЮ

Бисмилля!
Я в далеких походах забуду себя,
Я в битвах — по году,
В обидах — по горло,
Я родился в седле,
Умираю в цепях,
Меня водят пешком, как собаку, по городу.

Я забуду, как пахнет запаленный конь,
Я забуду в зиндане ^[Z] гортанные кличи,
Утром тело рубят и бросят в огонь,
Мое темя забудет бывшее величье.

Я забуду, как жены боялись меня,
Я как меч обнаженный,
Но ржа меня режет.
Сердце в горле как яростная змея.

Э, не так!
Мое сердце — ошипанный кречет.
Все забуду,

Молитвы — спасенье свое,
И пожары, и битвы, аллаха забуду...

Аруах!^[8]..
Ясный месяц в пустынях встает, —
И уходят в барханы
За самкой верблюды...

И в казахских казанах шипит молоко...
И собаки рвут шкуры друг другу от скуки...
Я в зиндане лежу глубоко-глубоко,
А луна, как лепешка, мне катится в руки...

КОЧЕВЬЕ ПЕРЕД ЗИМОЙ...

Когда расцветет, сверкая,
Звезда Сумбуле,
Косяки кобылиц
Отдадут свое белое молоко,
Тонкодлинные гуси над степью моей
пролетят,
И печально-печально в ночи прокричат
Мои бедные, белые гуси.
Это значит — трава постарела
на пастбищах.
Поднимайся, кипчак...
Пусть умрет у меня на руках,
Сверкая, звезда Сумбуле.

«Волхов, волхвы...»

Волхов,
Волхвы,

Варяжские конунги^[9] —
Волоком лодки,
Серые локоны,
Русые бороды воеводские.
Всполохи колоколов новгородских.
...А на Волхове палят костры,
Сам Баян предлагает ладу,
А глаза быстры,
А мечи остры,
Шалаши в лесу —
Не палаты.
Тонкорую Леду хватает Вадим,
Крутоплечий, льняной, высокий,
Он ведет ее в лес,
Он уже невидим,
Золоченый пояс расстегивает.
Белотелая Леда из темноты
Гладит кудри его, горя,
И ложатся в траву,
Шевельнулись кусты,
Из седла,
Из кустов смотрю я...
Новгородское бурное вече,
Теплый, тихий багряный вечер,
Ночь тревожная, дикая, дивная,
Над рекой проливные ливни...

ПЕСНЯ КУМАНА^[10]

Предки,
В бою поддержите меня под мышки.

Одинокое дерево не обойду.
Я повешу аркан

На кривом суку.
Я не первым
В последнем бою упаду.
Кто не знает мою золотую саку?

Вон звезда сорвалась,
Голова моя клонится ниже,
Клятву верности женщине дав,
Я целую ладонь.
Ни сову, ни ворону, ни лебедя
Не обижу,
Аруах!
Укажи мне дорогу на Балатон.
Проскачу навсегда, навсегда
Неизвестно откуда.
Только следы я оставлю глубокие
Людам,
Чтобы после дождей
Весь мой путь представлялся врагам
Вереницей пиал.
Чтоб они не сгорели от жажды,
Как я.

САМУМ

Засыпает кишлак песком,
засыпает, мне страшно
очень —
ни бежать, ни уйти пешком,
с минарета кричать
до ночи.

В этом веке последний крик,
век плывет над пустыней вихрем,

он несет в себе сто коряг,
сто стволов из оазиса вырвав.

Укрывая ладонью рот,
укрывая глаза ладонью,
я оплакиваю свой род,
это поле и сад плодовый.
Плач по горло заносит песком,
он выходит, идет,
проваливаясь,
выползая,
ползет ползком,
по песку
следом — след кровавый.
Минарет над пустыней торчит,
воет
длинно мордой собачьей.
Засыпает кишлак таранчи [\[11\]](#),
засыпает и засыпает.

ПЕСНЯ НАД ПЕСКОМ

Над пустыней стоят одинокие соколы»
Над пустыней застыли мохнатые беркуты,
Над пустыней парит августовское солнце —
Одинокие образы человеческой веры.

Я к скале подойду
И ножом, как язычник,
Заклинанья шепча,
Что-то вырежу я.
О прости меня, Солнце,
Я шепчу неприличное,
Пусть услышит пустыня

Рыжая.

А потом?

А потом

Топот скроет молчанье.

Ты меня, вороной,
назови подлецом!

Кони ноги ломают

Вот такими ночами,

Когда всадник о гриву

Утирает лицо...

Над пустыней стоит одинокое небо.

Успокойся, скакун. Это всходит, луна.

Ах, такую прохладу и спокойствие мне бы.

До свиданья, пустыня

Рыжая.

НОЧНЫЕ СРАВНЕНИЯ

Ты как мед,

как вспомню — зубы ноют,

ты как шутка,

от которой воют,

я ничтожен, кто меня обидит!

Видел ад, теперь бы рай увидеть.

Ах, зачем тебя другие любят,

Не люби, да разве это люди...

Они ржут, собаки, до икоты,

Это же не люди, это — кони!

А когда язык ломает зубы?

А когда глаза сжигают

Веки?

Как, скажи, мне брови не насупить,
глянуть —
и остаться человеком?

И лягушкой ночью не заплакать,
я люблю тебя,
как любят квакать,
как вдова — кричать,
как рыба — плакать,
я люблю тебя, как слабый —
славу,
как осел — траву,
как солнце — небо.
Ты скупа, тебе прожить легко,
даже нищий дал мне ломоть хлеба,
как дают ребенку молоко.
Если б звался я, дурак, Хайямом,
если б я, проклятый, был Хафизом,
если б был я Махамбетом, я бы!..
Только все стихи уже написаны.
Так в горах любили и в степях,
так любили — и смеясь и плача,
Разве можно полюбить иначе?..
Я люблю тебя, как
я — тебя...

АЙТЫС[\[12\]](#)

Войско выбирало себе в предводители того батыра, который побеждал соперника в споре. Народ сохранил в памяти несколько батырских айтысов. Наиболее известен айтыс (спор) Кара-батыра и Урак-батыра из Среднего жуза, рода караул.

ГОВОРИ, КАРА-БАТЫР!

Если хочешь, скажу я тебе, Урак,
о маньчжурах, ногайцах
хохлатоголовых,
о башкирцах, о русских мохнаторотых,
о туркменах, грузинах
в далеких горах,
о китайцах, не знающих
вдохновенья,
о великих народах, умеющих
плакать,—
всех, подобно
овцам после доенья,
заставил я блеять во имя аллаха.
Если ты мусульманин,
братайся со мной,
а неверный —
из вен твоих выпущу гной,
мое имя ураном клокочет в степи,
сотни тысяч джигитов
водил я в бой.
Меня знают сайгак, и орел, и змея!
Меня знают на небе
и выше!
Сын Алиа, Урак,
кто не знает меня!
Только я о тебе не слышал?

ГОВОРИ, УРАК-БАТЫР!

Что ж, скажу, если хочешь. Кара-батыр.
Я прошел по дороге великой твоей:
у туркмен я спросил,

у грузин я спросил,
я в далеких лесах у башкир
побывал, -
я у русских в прекрасной Москве
побывал,
у поляков я в тесных полях
побывал,
я с маньчжурами дикими
воевал,
у Литвы я спросил,
у болгар я спросил,
у племен я признания вырывал.
Кто не знает тебя?
Кто не знает, что ты—
сын раба!
Внук раба!
И отец рабов!
Ты презренный, ты землю когда-то
пахал.
Жеребец Карабул похудел подо мной.
Жеребец Карабул благородней тебя.
Хочешь, я оседлаю тебя на бой!
Нет кобылы такой!
в степях!
Оседлаю, ударю тебя по бокам,
повалю, опозорю, как жирную
бабу!
Сын волка, хоть и тощ,
но похож на волка,
сын собаки, хоть толст,
но похож на собаку!
С отрезанными ушами.

Предание говорит, что в этом споре победил Урак-батыр...

СЛОВО ДУРАКА

Если с материнским молоком
это зло в тебя вошло здоровьем,
добрым тебя сделать нелегко
всем земным, вселенским всем коровам.

Если бы земля была чужая,
если бы жена была слепая,
я бы мог нарушить свои клятвы
и к тебе направить свои взгляды.
Я боюсь сегодня только страха.
Горше всех лекарств мое участие —
стариком иду к любой старухе,
я осколок, если ты — на части.
Тигром я бываю среди тигров,
в доме обезьян я — обезьяна,
в тишине я проплываю тишью,
на луне
ночной луной сияю.

Растопырь, мудрец, большие уши,
щедрость лучше скрытых кладов.
Правильно.
Даже дурака, мудрец, послушай,
если он, дурак, расскажет правду.

РАСКОПКИ В ЗОНЕ ШАРДАРИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Глины.
Глины пятицветной — залежь,
кустики джусана, тамариск,
и барханы желтые, как зависть,

к Сырдарье, качаясь, прорвались.
Задавили город Шардару,
поделили ханские наделы
и глядят, глядят на Сырдарью,
на твою последнюю надежду.

...Били бубны, и звенел курай,
в стены клали свежую дерницу,
бог луны благословил твой край,
я нашел в кувшине горсть пшеницы.
Вот на камне выбита строка,
звенья глиняных водопроводов,
изменила городу река,
и ушли бродяжничать народы.
А в другом кувшине —
вот оно!
Зря мои ребята лезут с кружками,
режу на квадратики вино,
крепкое, увесистое, хрусткое.
Старики, я получил дары,
возбужден тысячелетним градусом.
Океаны в глине Шардары!
Режь лопатой, находи и радуйся.

...Радость захоронена в степях,
может, глубоко,
а может, рядом,
мы живем и познаем себя
по закону сохраненья
радости!

Может, был я посохом хаджи,
может, был я суслом
для наливки,
может, на губах я не улыбку —
женщину таразскую ношу.

Может,— первым зернышком
маиса,
первым клином
первого письма,
Родины мы были просто
мыслью,
помогавшей вам
сходить с ума.
О, всегда мы возникали вовремя!
Морем —
в самых неморских местах,
ради родин забывая родину,
родину, утопшую в песках.
Мы вернемся,
если не забудем,
гордостью, чинарой,
чем еще?
Может, просто ветерком
попутным —
парусником моря Мырза-щель?
Не задумано мое хотенье.
По закону сохранения
дум
я в тенистый Мырза-щель не тенью,
ясностью осознанной приду.
Сантиметры в полотне найдутся.
Грустной охрой улыбнись, маляр.
Мырза-щель, смущенная натурщица,
родина последняя моя...

ЧЕРНЫЙ ЖАВОРОНОК

Эдуард Багрицкий птиц любил.
В кабинете маленьком орали

попугаи, кенары, ульбицы,
чижики...
Молчал —
караторгай.
Жаворонок из Тургайской области,
он степям своим давно наскучил.
Мы ему: «Лети на юг!»
Не хочет.
Прячется,
дрожит в Тургайской области.
Ежится.
Зимою там бураны.
Неприятные,
по десять баллов.
В шерсть (как в сено] на спине барана
закопается и дрыхнет, баловень.
А чабан поймал полузамерзшего
и отдал проезжему газетчику.
Тот продал караторгая летчику,
летчик — подарил.
Поэт поморщился.
Но подарок принял,
сунул в клетку,
в дальний угол, на пол.
Чай распили.
Гость поправил синюю пилотку.
Улыбнулся. Улетел.
Разбился.
И Багрицкий в телеграмму плакал.
Кенары кричали, попугаи
равнодушно брякали:
«Дурак».
На полу молчал караторгай.
Он молчал, мой жаворонок черный,
О, молчанье —
это тоже голос.

Он молчал.
Он потерял еще раз
свой Тургай,
заснеженную область.
Улыбаюсь жизнелюбым гениям!
Договоры с жизнью расторгая,
человек припас на случай кенара
и навечно взял караторгая.
И когда я приезжаю в область,
я подолгу слушаю ночами:
жаворонок под огромным облаком
голосит о летчике молчаньем.

ФЕВРАЛЬСКИЙ ЯГНЕНОК

У Карабаса
(простится мне это сравнение)
лицо красное, как поросенок,
от свежего воздуха.
Он смущен своим ростом высоким.
Четыре ранения.
Он рубался, наверное, здорово
в моем возрасте.
Полным ходом — окот.
Горы сена! А в сене — норы.
Там ягнята двухдневные блеют —
чабанья радость.
Белолобый еще не обсох,
он дрожит и ноет.
Волкодав забирается в нору,
ложится рядом.
Я глажу ягнят. Щекочут ладонь.
— Искусственные?
— Да нет,— по-девичьи смущен Карабас,—

От любви.
Шофер мой гогочет, дурак:
— Различим по вкусу.
Чабан усмехнулся.
Другой бы уже залепил.
Шофер — тоже гость.
Ну, ладно. Садимся в юрте.
Разлили джамбулский «сучок»
в тостаганы^[13]. Пьем.
Закусываем кусками жирного
курта.
Молчим.
Карабас, развлекая гостей, поет.
Ноет ягненок. Собака его не спасет.
За юртой в норе умирает
двухдневная жизнь.
Чабан Карабас возвышает
смущенный басок.
Домбра на коленях залатанных
полулежит.
Домбра.
Ни отца, ни жены, ни детей,
только сам.
Вся семья его — это отара
и куча ягнят,
волкодав, на начальство не лающий,—
его зам.
И слова — изо рта,
словно голые — из огня.
Это истый степняк:
он поет о березах и кленах...
«Карагач одинокий в пустыне
тоскует о роще».
Опускает глаза на кошму
шофер мой обросший.

Тишина. Тишина.
Это умер в норе ягненок.

КОЛОДЦЕКОПАТЕЛЬ КАЗБЕК

Загорелый, худой,
подпоясанный красным платком,
в тюбетейке с чалмой,
бородатый, усатый —
хороший.
Волосатый кадык
провожает глоток за глотком,
на цветном сундуке
горделиво сияют галоши.
Я сижу в эпицентре великой
Голодной степи.
Мой хозяин Казбек — величав,
монотонен, как эпос,
он барана последнего
в черной крови утопил
и с подъемом большим
повествует весь вечер об этом...
О, Казбек не уверен,
что дальше райцентра
есть другая Земля,
он не верит,
что кроме персидских и русских,
есть другие поля,
он достойного сына отдал
Испагани^[14] в высокий час.
Мой старик деловито крошит на ладони
кирпичный чай.
Его первого сына звали Надеждой^[15].
Мускулистый и добрый, с глазами архара,

в этом тридцать шестом
он в красивой одежде
пал с седла при набеге
На Гвадалахару.
Дед Казбек убежден, что опять
воевали с персами.
Я смеюсь,
но старик на своем:
«Сын погиб в Испагани...»
Ханы и шахиншахи давно перестали
соперничать,
в этом тридцать шестом сыновья
погибали в Испании.
Ночь уже в середине.
Юрта дырами ловит, звезды,
Рядом строят плотину.
Там возится сын Бахыт.
Говорят,
вода в Мырза-щели
дороже воздуха,
говорят,
много разных колодцев,
да нет плохих.
Пал спиною на войлок, мудрый
колодцекопатель.
Ему снятся любимый баран
и персидские войны.
У порога светлеют седло
и большая лопата,
с Шардары,
со строительства моря
доносится вой —
МАЗы.

««Волга» вьется аварской дорогой...»

«Волга» вьется аварской дорогой,
над горами аварское небо,
и могильники однорогие
за аулами, за Гунибом.
Ишаки, как везде, невеселые,
старики, как везде, особые,
проезжаю угрюмые села,
белостенные села усопших.
Тот, кто жив, кто еще в аулах,
кто еще не ушел за речку,
говорит, наслаждаясь гулом,
легким клекотом отчей речи.

ГЛИНЯНАЯ КРУЖКА МОПРа (Рассказ)

Двадцать какой-то год.
В каком-то зеленом городе.
Желтое лето. Пыль. Верблюды и дыни.
А по утрам находят людей
С перерезанным горлом.
Мусульманам внушает городская газетка
О бедах Румынии.

На базарах,
Везде, где толкаются с деньгами,
Ходят сборщики МОПРа с крупными
кружками.
— В Руре гибнут рабочие...
— Брысь от меня, бездельники!
Разве с кружками просят золото!
Надо с оружием!

Хо-хо-хо!

Ходят сборщики МОПРа,
Злые, в рваных халатах,
И, намаявшись, тащат в райкомы
Нищую медь.
Младший сын Бек-Назара,
Подумав, сказал:
— Ну, ладно,
Я — секретарь.
Мне надо уметь.

«Мусульмане!
Сегодня над миром аллаха идет курбан-айт —
Великий мертвенный праздник.
Сегодня готов аллах простить нам
Грехи великие за щедрость великую нашу!»

У дувала мечети хаджи Бек-Назара
Ярмарка нищих!
Каждый тащится на собственном ишаке.
Сидят и стоят разноцветные,
Сотни, если не тыщи,
Восток мой велик и в богатстве и в нищете!
Бывшие аломаны рисуют на лицах грусть!
в драных мехах!
Пыль горячая, как на пожарище!
Митька в грязной чалме тянет солдатский
картуз!
— Подайте на горькую, ради аллаха,
товарищи!
Гордо верблюды проходят, пыля,
В кости под сенью урючин режутся,
Улочка — узенькая Земля,
Воины, встретившись, не разъедутся.
В чоновских бутсах из кожи свиньи,

В куртке, с наганом сын Бек-Назара
В шеренге нищих кружкой звенит,
Смотрит прищуренными глазами.
— О-о! Люди! Чтоб я ослеп!
Он собирает таньгу на калым!
— У Советов нет золота, чтоб заплатить
За красавицу Гюль!

— У хаджи Бек-Назара не хватит волос,
Чтоб сединой за позор расплатиться!

— Сын Бек-Назара стал нищим,
Поможем ему, правоверные!
И под халатами ищут
Потные револьверы.
— На!

Как в лицо.
Первый пятак
В кружку летит плевком.
— На!—
Это счастье — бросить медяк
Сыну хаджи Бек-Назара.
Богатые мстят от души:
— Да помянет тебя ревком!
Бедные мстят торопливо ему
За отца, подлеца Бек-Назара.

Бухарское золото и советское серебро!
Срывают тугие перстни с жирных пальцев!
— На!—
И халаты хивинского шелка.
— Ох, и добро!
Нищие злобно встают и завистливо пялятся,
И, подражая, швыряют
С презрением ветошь,
Смачно плюются,

Отходят, искусно дрожа.
Солнце, зачем ты так весело светишь!
Каждый твой луч на щеке,
Словно отблеск ножа.

Почернело лицо у дувала отца,
Глаза, как две черные раны,
Над их головами горят.
— На!—

Так полосуют мясо лица.
Так в последнем бою обреченные
— На!—

Говорят.
«Тот может плевать, — пока богат.
А ты почему засучил ногами!
В лицо мне метишь!
Не страшно, гад.
Им рай уготовлен моим наганом.
Твой сын на базаре
С такой же кружкой
Бегает, просит в твоём старье.
Он завтра подастся учиться к русским
На узком каике по Сырдарье.
И там, в протоке,
Из зарослей чия
Ударят залпом вот эти псы.
А ты хохочешь е убийцами сына
Ага-Мусы!
Смейтесь, я знаю, в улыбках — яд.
Плюйтесь, я верю — это не ложь,
в бою обреченные:

— На!—

Говорят.

Я обречен, но скажу:

— Даешь!..

Я пойду. Надоели старые лица.

Я посплю, и пускай, кому нужно,—
Молятся,
Забастовщики Рура мне будут сниться,
Гюль и румынские комсомольцы.
Но сон оборвут — На!— ударят в постели
Железом, каким забивают корову.
Дорежут, поставят около тела
Кружку МОПРа, набитую кровью.
А кто убийца?
Отец Назара?
Или проклятый лентяй Мусы?..
Дело милиции».

КРАСНЫЙ ГОНЕЦ И ЧЕРНЫЙ ГОНЕЦ

Перелески, холмы, задыхается конь,
без дорог, напрямик
мчит веселый гонец, -
пот соленой корою застыл на лице,
он сменил пять коней,
пять коней, пять коней.
Сбросил кованный шлем,
бросил кожаный щит,
меч остался в полыни,
копье —
в ковылях,
лук бухарский в песках Муюнкумов
лежит.
И ржавеет кольчуга в хлопковых полях.
Только знамя в руке!
Полуголый гонец
знак победы — багровое знамя —
не бросил.
Это знамя дало ему

семь коней,
семь коней,
семь коней
тонконогих и рослых.
Это знамя поило айраном его,
на привалах валило под ноги баранов,
беки жарко дарили ему —
ого-го!—
лучших девушек, плачущих,
но не упрямых!
Но упрямый гонец на привалах не спал,
«Славься, город, прославленный арыками!..
Поздравляю с победой!..»
Тогда он упал,
закрывая скуластую морду
руками...
Ваша радость, народ,—
это слава его!
Пусть о нем говорят на орлиных охотах.
Слава!
Слава гонца
громче славы бойца,
где-то павшего без вести за свободу.
Подарили ему арабчат и рабынь,
если хочешь любую, а хочешь — троих?..
Он молчал, обнимая свою рябую
И детей босоногих, чумазных своих.

...Тише, люди?
Хрипит, задыхается конь.
Без дорог, без сапог, огибая кишлак,
Мчит угрюмый гонец,
он ушел от погонь.
На копье раздувается
черный флаг.
Флаг жалеет его— не спеши,

не спеши
головой отвечать за бесславный конец!
За измену аргынов!
За трусость паши!
Разве ты виноват,
что ты черный гонец?
Разве ты виноват?..
Враг идет в Бесшатыр.
Он стотысячным топом линчует аулы,
пот съедает глаза, конь хрипит.
О батыр,
лучше б ты под копьем умирал
ясаулом!..
Ты хотел,
так хотелось быть красным гонцом!
Перед женами, матерью, перед отцом
ползать, плача от счастья,
дары принимать!..
Прячься, глиняный город!.. Умри, моя мать!..
Дед, кончай свою долгую жизнь, не тяни,
пока честен, влетай в свое небо стрелой.
Жены, жены, бросайте детей со стены!
Пейте яд! Обливайтесь кипящей смолой!

«Кто-то медленно скачет и скачет во сне...»

Кто-то медленно скачет и скачет во сне,
издалека, на светлом усталом коне.
Все молчит. Осторожно копыта стучат.
Скачешь ты
или тихо крадешься ко мне?
Почему не взлетает над крупом камча?
Почему ты являешься мне по ночам?
Я поверю,

я знаю — ты добрый гонец!
Почему же так тихо копыта стучат?

ШАШКА

На! Доверяю. Точи.
Она в сундуке помялась.
Так отточи, чтоб не рубить,
а делить,
чтобы рана на теле тонкой была,
как нить!
Чтобы кровь не чернела обиженно,
а смеялась!
Точильщик — мужчина грубый,—
и тот растревожен звездами,
грудой у ног—
тупые ножи домашние,
полдень зачеркнут звездами.
В синих кристаллах — воздух,
мясник раздувает ноздри —
в городе пахнет Дамаском.
Жми на педаль истертую,
плюй на лезвие,
пусть поглядят уныло
кухонные ножи.
Сыплются синие искры,
словно глаза Олеси,
к черному кругу жметя
жизнь, жизнь!..

ОКРАИНА

Тот час, когда тепло
до теплоты.
И фонари сгибаются под ношей,
и слабым отрицаньем темноты
свет верно служит азиатской ночи.
Иду туда, где точки папирос,
где фонари разбиты женихами,
где в мае по спине моей — мороз,
где жизнь — копейка, если не нахален.

Здесь сладко пахнет древним воровством,
на седла брошенным девичьим вскриком.
Окраиной души горжусь родством
с негромкой, дикой слободскою кликой.

Темно. Движенья белые видны,
скамейка занята, на ней колдуют.
Ух, женщина мужчине в ворот дует,
сорочку отдирая от спины.
Взошла луна.
В тиши журчит вода.
Собака спит. Спит сторож с алебардой.
Окраина. Под яблоней — лопата.
И овощной ларек, закрытый навсегда.

«Загнали кондуктора под потолок...»

Загнали кондуктора под потолок.
Троллейбус везет к стадиону
болельщиков.
Ужасное чувство локтя,
в каждом боку — по локтю.
Я уважаю общество, но
полегче!

Я охраняю девочку
с тонкой теплой спиною.
На каждой стоянке в троллейбус
влезают восстания.
Кости мои,
да здравствуйте!
Плечи и ноги — к бою!
Что мне проклятый футбол,
когда ей на свидание!
Я не знаком,
я за нее отвечаю,
кондуктор кричит,
раздавленный безбилетными.
Не бойся,
тронут хоть словом,
клянусь — одичаю!
Сестренка,
твоя остановка,
сходи, отвечай за себя...

ПЕЙЗАЖ

Развешаны, картины Левитана
в лесах;
река холодная горит;
неторопливый грохот Левитана
о молнии потухшей говорит.
На фоне свежекрашенных холмов
стоят столбы,
как скважины в разрезе,
и воздух после молнии разрежен,
так дышится в тени степных колков.
О, лиственных лесов остолбененье,
какая-то полуденная тьма,

она бывает перед наводнением,
когда земля в невидимых дымах.
Брожу травой,
которую не косят;
великая, табунная трава;
в ограде лесника жируют козы;
я помогаю складывать дрова.
Гляжу на облако,
оно на ветке молнии,
как яблоко багровое, висит...

НА ПЛОЩАДИ ПУШКИНА

Поэт красивым должен быть, как бог.
Кто видел бога! Тот, кто видел Пушкина.
Бог низкоросл, черен, как сапог,
с тяжелыми арапскими губами.
Зато Дантес был дьявольски высок,
и белолиц, и бледен, словно память.
Жена поэта — дивная Наталья.
Ее никто не называл Наташей.
Она на имени его стояла,
как на блистающем паркете зала,
вокруг легко скользили кавалеры,
а он, как раб, глядел из-за портьеры,
сжимая потно рукоять ножа.
«Скажи, мой господин,
чего ты медлишь?..
Не то и я влюблюсь, о, ты не веришь!..
Она дурманит нас, как анаша!..»
Эх, это горло белое и плечи,
Ох, грудь высокая, как эшафот!
И вышел раб на снег в январский вечер,
и умер бог,

схватившись за живот...
Он отомстил, так отомстить не смог бы
ни дуэлянт, ни царь и не бандит,
он отомстил по-божески:
умолк он,
умолк, и все. А пуля та летит.
В ее инерции вся злая сила,
ей мало Пушкина, она нашла...
Мишеней было много по России,
мы их не знали, но она — нашла.
На той, Конюшенной, стояли толпы
в квадратах желтых окон на снегу,
и через век стояли их потомки
под окнами другими на снегу,
чтоб говорить высокие слова
и называть любимым или милым,
толпа хранит хорошие слова,
чтобы прочесть их с чувством над могилой.
А он стоит, угрюмый и сутулый,
цилиндр сняв, разглядывает вас.

УЩЕЛЬЕ

Несдержанные голоса мужчин...
В одном объеме — и мираж, и зимы.
О, ритмы гор — туманности вершин
и солнечная простота низины!
А трещины, как змеи на камнях...
Корнями расколов порфир —
береза...
Кочевники проходят на конях
по скалам, еле тронутым коррозией.
А за верблюдами
лениво, немо

собаки караванные бегут,
оглядываясь на пустое небо,
вынюхивая признаки погод...
Куда ты, караван? В какой шабул^[16]?
В чье желтое лицо бура твой плюнет?
О, гнется тропка,
гнется, как шампур,
под тяжестью нагруженных верблюдов.
В Такла-Макане пыльный ураган.
Э, осторожнее на перевалах!..
Возьми меня с собою, караван,
В седло пустое, вместе под обвалы!..

«Наконец!..»

Наконец!
О грубый летний ливень,
крупная мелодия воды,
в садике моем сухая слива
рубится с потоком
молодым.
В рот земли засунув корни,
клёны
бешено вращаются на стеблях,
небо с хохотом влетает в стекла,
между небом и землей —
колонны,
руки,
реки,
мы сегодня — ливни.
Нам сегодня
до всего есть дело!
Пейте, пойте —
это тоже дело.

Ливни — свадьбы неба и земли!

ПРОЩАНИЕ С ГРЕЦИЕЙ

Залезли по локоть, по, плечи
в мяса мужики,
все жирные куски пошли налево,
а кровь,
а печень,
сердце, мозжечки,
как самое бессортное,— на ливер.
Историю разбили на разделы,
как тушу в лавке по сортам разделали.
Любовь
не обходилась без телес,
без бедер и спины не обходилась,
любовь не обходилась без небес.
Когда варяги в Грецию влюбились,
они придумали себе гордыни,
они придумали Литву, Осетию.
Сардар, страдающий, стенокардией,
сказал в эпоху Греции:
— О сердце!..
А рядовые варвары, конину
глотали в седлах без салатов,
в спешке,
ни вертелов, ни печи, ни камина.
Сказал батыр, больной циррозом, —
— Печень!..
Дистрофики придумали — кровинка!
Пустынники придумали — травинка!
Хромой Тимур сравнил тебя с коленкой,
Эй, Греция,
ты создана калеками.

Ты крик Немого, первый слух Глухого,
ты взгляд Слепого,
свет очей его,
ты солнце дальнее,
сейчас ты лунный холод,
тебя зовут, ты оглянись:
«Чево?»
Издалека сравнений старомодность
ты оправдай, все может быть,
и я —
нештатный лирик — расскажу о стройности,
о сложности земного бытия.

УТРО ПОСЛЕ ШТОРМА

Зеленое море, тонкие пальмы
желтое зарево совершенства,
я всю ночь простоял на палубе —
прибываем без происшествий.
Над окошками дым лаваша,
бабы черные, как головешки,
муж, сутулый и головастый,
неумело седлает лошадь.
Очень много цветов загара,
сверхубыточные мазки.
Прикрывая собой Сахары,
пальмы тянутся на носки.
Прикрутили к причалу канаты,
в чемоданы — гашиш! Отдали.
Вот и Африка.
Кто-то скандалит —
ему надо было в Канаду.
Берег
с тропками, арыками,

мирный мир после варварства ночи.
Море тихо на пляж выносит
пену, взбитую ураганами.

ПОЛДЕНЬ, ПУСТАЯ МЕЧЕТЬ

В мечети хохот прозвучит кощунственно.
Однажды лошадь забрела в мечеть,
копытом осторожно пол пощупала,
в сторонку стала, чтобы не мешать.
Глядит, ушами шевелит и нюхает,
никто кнутом не хлещет и не нокает.
Имаму бы пинать ее: «Неверная»,
звать мусульман, выталкивать
за дверь ее.
Она согласна повозить аллаха,
аллах бесплотен — разве это ноша!
Имам хохочет, выдохся,
феллахи —
хохочут, ржут.
— Ого! — заржала лошадь.

Сайда.

ТИШИНА

Вокруг мечети каша,
каша,
каша,
в мечети тишина, как на войне:
ни хрипа, ни кряхтения, ни кашля,
я слышу только то, что нужно мне.
Акустика достойная Ла Скала,

нет черного,
есть мягкий, темный звук,
вокруг мечети скалы,
скалы,
скалы,
мечеть, как голова в объятьях рук.
Все кругло —
купол, свод, круглы квадраты,
круглы зады молящихся, круглы
цвета ковров, огни лампад, кораны,
углов так много, потому — круглы.
Свет солнца из двери квадратной —
кругл,
Я выхожу,
вот — обуваюсь я,
по городу иду в ботинках грубых,
неверным верно улыбаюсь я.
Хаджи идут по улицам, молчат.
В чалме, не глядя на людей, молчат.
И молча, молча в шумный город входят,
как пьяные в мечеть, ругаясь и крича.

Стамбул.

ХУДОЖНИКИ

Шесть минаретов, как шесть ракет,
венчают купол Сулеймании^[17],
в цветную тень
на ковровый паркет
арабские гласные заманили.

Вливает сквозь уши в душу спокойствие
пение благочестивых словес.

Здесь не обидят, входи, человек,
не плюнут в душу, не глянут косо.

Все — твое,
ну, а сам ты — чей?
Перед чаем и после чая
приходи, дорогой, в мечеть
помолиться и помолчать.

Отрешишься от мирских забот.
Если нет у тебя сапог,
приходи, дорогой, босиком,
все равно разуваться придется.

Все мы босы, родной, перед богом,
и слепой и зрячий равны —
ведь никто не увидел бога;
неглухой и глухой равны —
ведь никто не услышал бога.

Здесь любой тебе брат и друг,
здесь красавец равен убогому,
может, бог колченог и безрук,
может, женщина он, ей-богу.

И пророков, и неразумных
мы, художники, не рисуем —
пусть не знает верблюды, что рогат,
пусть не знает бык, что горбат...

Стамбул.

О, восходы какие
Над великим Египтом!
Тают лица нагие
Под прозрачной накидкой.
Над пустыней,
Над миром.
— Для чего!
— Так, для вида.
Словно девичьи груди
Плывут пирамиды...

— Караван-баши...
Караван-баши...
Плавно тают в тени верблюды...
Кто идет?
Паломники?
Торгаши?
Кто идет караваном?
— Люди...

По песку многоточий
К колодцу ответов...

СЕНТЯБРЬ В БИБЛОСЕ

Я в разбитом библейском городе.
Он сорок раз вырезался на совесть.
До глин выжигался.
Съедался до корки.
В арке сушатся чьи-то кальсоны.
Здесь когда-то прошли бои,
Тени в развалинах, как потемки.
«Чьи кальсоны?»
Подходит: «Мои!»

Сторож аракою возбужденный.

За бакшиш он покажет мне
несколько надписей ассирийских,
пару египетских, пару еврейских
и Македонского на коне.

Рыцари освободили от римлян
или римляне от крестоносцев?
Он не помнит,
здесь рыли, рыли,
вырыли череп Навуходоносора.

Турки долго освобождали,
освобождали просто отчаянно.
Пять столетий освобождали!
Турков выгнали англичане.

В Библос двинулась цивилизация.
(Он произносит «сифилизация»).

Арабский язык удивительно мягок,
он с каждого слова
кору снимает.

Страж здоровенный не знает лукавства,
гордо и просто живет Фатих,
врачей презирает,
из всех лекарств
знает только презерватив.

Он ведет меня в маленький садик,
в трон царя ассирийского садит
(где-то выкопал.)
«Кофе? Чай?»
Пьем густое вино у ручья.

За оливами — огород.

В сентябре — кукуруза. Не поздно?
Рожь — не принято. А горох?
Удобряешь? Тоже навозом?

Хозяин рысью уходите в дом
и возвращается тоже рысью
с хорошим пловом,
а дело в том —
хорошие урожаи риса.

...А за дувалом горы Ливана,
террасы посадок, пальм веера.
В разрушенном городе
залах лаваша,
так украшающий вечера.

БААЛЬБЕК — ХРАМ СОЛНЦА

Я ползаю по грудам Баальбека,
без удивленья щупаю колонны,
в каком-то древнем
минус первом веке
тот мастер высчитал мои наклоны.
Огромные костры цивилизаций —
гиперболами вспылчивых поэзий.
Мастеровые староримской нации,
изобретатели моих болезней!..
По храму бродят саксы и узбеки,
две итальянки с переносным тентом,
пишу в блокнот:
построен в том-то веке
тем римским цезарем,
разрушен тем-то.
Камнями разгоняю алых ящериц...

На теле сфинкса разложив платок,
вскрываю банку пива,
и глоток —
за Солнце,
и другой — за Настоящее.
Мне сверху виден двор пустой кофейни,
из древних кирпичей прохладный дом,
старик в бурнусе связывает веник
и долго-долго думает о том,
что надо бы полить водой холодной
свой пыльный двор...
Два дюжих члена баасистской партии,
в багровых фесках на висках седых,
за столиком в тени играют в нарды,
сосут сквозь воду булькающий дым
и оглашают медленное небо
арабским матом посильней «сыкке».
Я пиво пью и думаю: о, мне бы
хотя бы петь на этом языке...
Идет ишак, да, здесь ослы крупнее,
клянусь, здесь даже пашут на ослах,
и шерсть длиннее,
животы круглее,
здесь и осла не обошел аллах.
Мне интересно:
я достоин рая?
Я столько мест священных обошел.
Эх, если бы я вспомнил, умирая,
как было мне в Медине хорошо!..
Грех мусульманина
Христом оправдан,
буддийский грех не признает аллах.
Мне жизнь дает
прекраснейшее право
быть правым
в человеческих делах.

Пустынный зной в саду пушистит персик
и распаляет щеки яблок бьек...
Я вспомню звуки аравийских песен,
вино хельвани, город Баальбек,
песок Ак-Шам и кладбища безмолвные,
углами света искаженный мир,
вкус поцелуя, теплый запах моря
и пальмы на развалинах пальмир!

МОСТЫ

Отвесный известняк и краснозем.
Я вспоминаю Вахшскую долину.
Над узкой жилой Вахша вознесен
нурекский мост
из дерева и глины.

Мне вспомнятся ливанские граниты,
построенные в римское каре.
Спаситель, покровитель моранитов,
стоит, раскинув руки, на горе.

Чуть ниже — римский мостик караванный
древней Христа —
над пропастью реки,
как продолжение моей руки...
Проходит мул, нагруженный дровами.
А ниже—
камень, а на нем араб.
Он удочкой вылавливает в жиге
коричневых угрей, он страшно рад,
что труд его заметили.
А выше!—
Над полночью ущелья,

словно месяц,
на синем небе светит
черный свод.
Над пустотой ущелья,
словно мениск,
горами согнутый
мост каменный живет.
Они живут (объединив породы)
над рвами необузданных стихий.
Мосты —
мои сутулые дороги.
Моя стихи.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В гостинице «Украина» я опустошил один цветочный горшок. И никак не мог объяснить горничной, для чего мне эта земля.

...Пока я поднимался на корабль,
мне грубо подарил мой друг-араб
портфель с талмудом, торой и кораном,
он счастлив был, увидев, что я рад.
Еще халат золототканый шейха,
чалму зеленую, платок на шею.
Жена его, прощаясь, Хадиша,
лицо открыв, сказала мне:
«Хаджа»...
Я рад всему:
тому, что уезжал,
тому, что возвращаюсь,
что достал я
пращу средневековую,
кинжал,
дамасской, синей, легендарной стали.

В Москве я вспомнил,
что не взял, земли.
Священной пыли горсть —
с полей аллаха.
Ждет, не дождется бабушка Зали!
Не привезу — старуха будет плакать.
Горсть пыли из цветочного горшка —
в платок,
в портфель с библейскими вещами,
горсть желтого земного порошка!
Земля везде, по-моему, священна.
Я рад тому, что выполнил обет.
(Любой хаджа — обманщик и пролаза.)
Не ахай, бабушка, чтоб не накликать бед,
и не любуйся внуком,
чтоб не сглазить!
Убережет от злобы и от зла,
от родичей недобрых,
от обмана
священная московская земля,
зашитая старухой в талисманы.

АЙНАЛАЙН

*Обращение к дорогому человеку — айналайн.
«Кружусь вокруг тебя» — подстрочный перевод.
«Принимаю твои болезни» и «Любовь моя» —
смысловые переводы.*

Кочую по черно-белому свету.
Мне дом двухэтажный построить
советуют,
а я, как удастся какая оказия,
мотаюсь по Африкам, Франциям, Азиям,

В Нью-Йорке с дастанами выступаю,
в Алеппе арабам глаза открываю,
вернусь,
и в кармане опять —
ни копья;
копье заведется —
опять на коня!
Последний ордынец
к последнему морю!
На карту
проливы, саванны и горы!
А нас хоронили — ногами на запад,
лежат миллиарды — ногами на запад
под желтым покровом монгольской степи —
тумены ногаяв, болгаров, казахов,—
не зная, что
Азия западней
Запада,
Запад —
восточней Китайского моря,
а нас хоронили ногами на Запад!..
Шумит за спиною последнее
море.
Кружись, айналайн, Земля моя!
Как никто,
я сегодня тебя понимаю,
все болезни твои
на себя принимаю,
я кочую, кружусь по дорогам
твоим...

АЗИАТСКИЕ КОСТРЫ

Мы помним то,
равняющее всех,
его в людской истории немало —
когда-то ночью к вам пришли шаманы
для добрых дел и правильных бесед.
Они зажгли огонь и научили
беречь огонь и
кланяться огню,
лечить огнем радикулит и чирий,
и научили подходить к коню,
и верить Солнцу,
и гадать по звездам,
от них пошло — и танцевать и петь,
от них вы почитали только весны,
от них — пахать, выращивать и печь.
От них ковры и ваши самолеты.
От них, старателей, пошел алмаз,
их в жертву приносили
самоеды,
но и в огне они учили вас.
Шаманы гнали свет из слепоты,
из вашей глухоты для вас — Бетховенов,
Гомера, выплавив из темноты,
еще не знали, что им уготовано.
Они добыли в молотой руде
каратами
талмуды и кораны,
в ручных лотках сахарами,
горами,
перемывая миллиарды дел.
И все для вас — вы лишь качали мед,
вы шли в курильни, опиумы пили,
алмазом слова, золотом имен,
всей платиной надежд за дым платили.
На канах теплых
с трубками в зубах

валялись,
чтоб валяться под забором,
чтоб снова —
азиатом, кулом^[18], вором,
собакою среди других собак.
Когда вам говорили —
заплати,
когда ни пула, ни таньги, ни мана,
вы жгли
для дыма
на кострах шаманов,
придумавши» костер
для теплоты.
Страданьем!
Нет, старанием велик
мой странный мир,
родившийся старателем!
О Азия, ты стольких нас
истратила!
Опять костры для дыма
расцвели.

ПЯТЬ

На африканских и азиатских кладбищах вы увидите
надгробные камни с изображением человеческой руки.

Ныне живущие,
вам предстоит доказать
доброту оскорбленных.
Вам еще вспомнить
смысл древнего жеста —
Пять.
Надгробные, грубые стеллы
кладбищ запыленных.

Я вижу на камне
детские пальцы
распятые.
Ныне живущие,
не забывайте ушедших —
молнии Паганини
и пятерню самолета.
Цепкие пальцы молча тонущих
женщин
я бы
повесил
на горло свое
амулетом.
Лживые кличи передаю другим.
Век,
как всегда, недолгий,
я проживу с кулаками.
Умру,
и вырежет старая мать
на камне
вскрытую кисть
правой моей руки.

«В горах Памира...»

Мирзо Турсун-заде

В горах Памира медленный потоп —
сползает
туча тучная
каскадом,
разглаживая, влажным животом
горячие растресканные скалы.

Проходят тучи по горам

пешком.
Гниют хребты, обласканные ливнем,
и оседают, гордые,
песком.
Туманы пахнут мокрой
шерстью липкой.
Не верят каракумские барханы
былинам недалекой старины.
Жив облик башенкой Тмутаракани
в могильниках гиссарской стороны.

С высот разрушенных уплыли облака.
Одно
стоит над брошенным песком,
как грудь
с последней каплей молока.
Грудь материнская
с сухим соском.
Пески молчат. Размолотый гранит,
все, что могу, даю,
возьми прохладу...
Пусть тень моя бессильна,
как проклятье,
но эту тень, пустыня, сохрани.
Я, серый клочок тумана,—
твое небо,
что синь тебе, безбрежие постылое?
Когда уйду, скажи, моя пустыня:
«Пустыни там, где облаком
он не был...
Где не падала его тень».

Под круглой плоскостью степи
углами дыбятся породы.
Над равнодушием степи
встают взволнованные руды,
как над поклоном —
голова,
как стих,
изломанный углами.
Так в горле горбятся слова
о самом главном.
Далекое уводит нас.
Все близкое
кругло, как воздух.
За миллионы лет от
глаз —
углами
голубые звезды.
Нас от звезды
спасают крыши,
но мы ломаем —
и летим.
Над вдохновенными горами
унылый круг луны
потух.
И молнии
кардиограммой
отмечены
уступы туч...
И радуга — не коромысло,
она острее углов любых.
Нас обвиняют в легкомыслии,
а мы —
фанатики в любви!
Мы долетаем!
И встречает —
равнина. Поле. Борозда.

Изломы гор, зигзаги чаек.
Простая круглая звезда.

«Спи спокойно, дада. Спи спокойно, отец...»

Спи спокойно, дада. Спи спокойно, отец.
Я бодрствую.
Меня слушают дети с открытыми ртами
от гордости.
Все равно, что взлететь,
что на камни слететь водопадом.
Я богат, все мне — дорого.
Ты хотел меня видеть богатым?
Я иду через робость в ночи
по тропе овечьей,
в темноту руки всунув
и голову подняв, как горб.
Что-то мутит меня,
я-то знаю, что степь бесконечна.
Но предчувствие!
Брат, что мне делать с предчувствием
гор?..

РАЗЛИВ

По азимуту кочевых родов,
по карте, предначертанной
историей,
по серым венам
древних городов
я протекаю
бурой каплей донора.
Здесь долг я понял

глянуть на года,
возвысить степь, не унижая горы,
схватить ладонь твою и нагадать
тебе дорогу дальнюю, о город.
Жарища.
Дремлет, в-будке-старшина,
чем пешеходы, кажется, довольны.
Я город прохожу. Вдруг —
тишина.
И крик —
громадная улыбка Волги.
По берегу улыбчивой земли
иду травой. И знаю, что надолго
влюбляюсь в этот город, в эту Волгу.
Все предсказанья — чушь,
когда — разлив.

ТЫ СОБАКУ УДАРИЛ

Помнишь кошару!
Помнишь отару!
Помнишь, мы долго стреляли в ночь!
Ветер с волками,
темень, как камень,
ты, лицо закрывая,
нашарил нож.
Страх твои руки скрутил
арканом,
клыкастые лапы рвали чапан,
и в это мгновенье
хриплый клубок
ударом
на волчье горло лег.

Конь рванул,
ты зарылся в снег.
Снег, вихрясь,
на лету смотрел,
как кипели в одном котле
волк,
собака
и человек.

... Утром стихло.
Но небо серо.
Снега улеглись,
лишь поземка метет.
У стенки кошары поземка присела,
чтобы взглянуть на нее,
на собаку худую, старую —
(приползла из степи домой,
кровь последнюю
в дверь кошарную
в борозде волоча за собой).
А когда мы ее добивали,
она руки пыталась лизать,
как щенят,
те, ворочаясь, ждали
в жестком сене
теплую мать.
Ты пришел из степи за ней,
тебя след окровавленный спас,
ты добрел до своих саней
и тотчас же умчал от нас.
И сейчас
ты собаку ударил при мне,
чем собака тебя обидела?
Знай же —
не по моей вине
чабаны твой удар не видели.

Не положено бить
детей
и собак —
по закону степей.
Так поймешь ли,
за что тебе
я, как волку, в глаза гляжу!

**В. ЖИВУЛЬСКОЙ, ПОЛЬСКОЙ
ПИСАТЕЛЬНИЦЕ,
БЫВШЕЙ УЗНИЦЕ ОСВЕНЦИМА**

Я сижу в полосатом сквере на полосатой
скамейке.
Я провожаю осеннее белое солнце.
Шорох страниц у меня на коленях,
Лень.
Розы багровые, желтые, черные разы несут.
Розы дарят сегодня гостям и любимым,
розы, как язвы на женских костлявых спинах.
Девочка ест мороженое. Зуд.
Девочка в школьном переднике.
У нее на губах сливки,
как белая пена у рта эпилептика.
Липкая...
В 42-ом мальчик бараньего мяса хотел,
прошу, приплюсуйте и это к счету.
В 43-ем он черного хлеба хотел,
прошу, не забудьте и это — к счету.
В 44-ом он красной свеклы захотел,
а в 45-ом,
когда старики становились ребятами,
на вокзале стоял, ожидая родичей,
целую роту...

Он совсем одичал, он потел,
он кричал до икоты.
Мальчик мало что понимал.
Он не знал, что отняли не только
мужчин у него.
Как письмо запоздалое, тощая книга
лежит на коленях...
Пусть унижают солдат, но не трогайте
женщин! ...
Кому посвящать слова?
Этим? Сбритым наголо тифом?
Измазанным желчью, словно губной помадой?
Этим? Которым отказано
в мясе, в хлебе, в свекле
и в письмах маме?
В плаче, в грусти, в тепле отказано,
не отказано только в пекле,
в бегстве, в петле-
и в глотке газа?
Этим женщинам нет снисхождения!..
Жалостью,
тощим телом воняли!
Это может быть наваждением.—
женщину у поэта отняли!..
Хочется быть раздетым и не стесняться,
хочется быть одетым и не бояться,
хочется жить, как дети,
чтобы смеяться,
хочется так, как эта, в школьном переднике,
в сливки морозные сладко губами
вгрызаться,
морщиться,
но не от холода ассоциаций.

«Я выпросил в отряде две недели...»

Я выпросил в отряде две недели.
Я на верблюда сел — и был таков.
Тянуть шубат и ничего
не делать,
записывать былины стариков!..
Качался, пел о дальних городах,
я воду пил пиалой граммов
в триста
за долг — в пустынях
время коротать,
за бедуинов из Геофизтреста.
Искал в песках аул —
нашел геолога,
четыре дня он шел и жаждал встречи,
не чувствуя ни жара и
ни голода,
лежал в песке и убеждал,
что — в речке.
Я был не человеком —
миражом.
Он подмигнул, и выдул пиалу,
и вдруг затрясся, засучил
ногами,
пил носом, и губами, и лицом,
глазами, всхлипывал,
пил хорошо,
как надо пить,
как надо жить —
зубами!
Потом вскочил, не пересилив
радость,
и стал бросаться на меня с ножом.
Потом он сел.

Потом он пил и ел.
Потом он пел задумчиво
и хрипло.
Потом он пил и снова пить
хотел,
пытался влезть в бурдюк
и жить, как рыба.
Я хохотал от счастья,
хлопотал,
купил его за нож, поил и люто
тащил в седло свое,
а он роптал,
пытался меня сталкивать
с верблюда.
Отвез его в аул.
Неделю пил шубат.
Менял свои ковбойки на легенды.
Учил вставать на лапы
злых собак.
И вспоминал уехавшего Генку,
...И все прошло.
Вот только есть одно —
ай, бог пустынь,
доверь мне снова радость:
в песках, где воют на луну
бараны,
В Москве, в горах, в ауле —
все равно —
спасти кого-нибудь.
Доверь мне радость.

ТРАВА

Встречаемся мы часто за Тоболом,
в лесу, в траве осенней
И лежим,
и не шумим,
я так же чист с тобою,
как наш Тобол, впадающий в Ишим^[19].
С деревьев красные сползают ливни,
травы в багровой
лиственной крови,
ты навсегда запомни —
как счастливо
глядел на нас кузнечик
из травы.
В моем лесу ничто не враждовало,
скользили блики света по траве,
и по руке твоей, как по тропе,
шла муравья,
и ушла,
пропала.
Все птицы пели что-то без названья,
за всеми кленами молчал Тобол.
Что было бы, не будь его?
Не знаю.
Что было бы, не будь меня с тобой?
Всех, на тебя похожих,—
не обижу,
деревья белые беречь я буду,
и каждый раз,
когда тебя увижу,
я самым добрым человеком буду.
Что было бы, не будь вот этих г паз,
залитых светом, болью и обидою...
Ты каждый раз люби меня,
любимая,
так, словно видимся

в последний раз.

АПРЕЛЬ

(из поэмы «От января до апреля»)

Она молчит.
Не буду ей мешать.
Включаю верхний свет,
мне мало нижнего.
За стеклами стоят на стеллажах
портреты,
вырезанные из книжек.
Печальный Пушкин, мрачный Маяковский.
Злой Лермонтов, усмешливый Есенин
глядит из рамки,
словно из окошка —
пейзаж осенний.
Невесело. Молчит незавершенность.
Неудовлетворения туман.
Признания.
Обрывки завещаний.
Фантастика —
неполные тома.
Пустые полки рядом, как пустоты
на картах,
на картинах мастеров.
И пустоту я называл простором.
Сейчас — старо.
Эскизы Модильяни,
Пикассо.
Квадрат картона с видами Рязани.
Святая дева с девичьей косой,
с налитой грудью,
с тяжкими глазами.

Как жаль, что не дописано бедро!
Под стеклами обрывки
и наброски.
Вот
дьявола не дописал Петров —
копыта — есть,
есть — хвост.
А где же рожки?
А вот стена
широкая, как плац.
На всем пространстве
только два эскиза.
Какой-то доморощенный Саркисов
хохочущей
изобразил
Каплан.
Как в бельмах глаз
ее зрачки
орали!
Я никогда таких не видел лиц.
Косая прядь
рубцом —
в лицо!
А рядом —
эскиз Андреева «Смеющийся Ильич».
...Там,
за плечами,
хмурая Казань.
Ильич в кругу сибирских инородцев.
Они пришли к Владимиру
суровые.
Не жаловаться Ленину,
сказать
о том, что плохо.
Опершись на лыжи,
стоят они. Задумчиво глядят.

Неслыханную речь его услышать
о счастье человеческом хотят.
Он знал, он видел, оставляя нас,
что мир курчавится, картавит
и смуглеет.
Мир был
совсем иным
в последний час,
в последний час
короткой жизни Ленина.
Приходится порой простые мысли
доказывать всерьез,
как теоремы.
Для всех, кого не обошло презрение,
он ждал апреля.
Мы идем к апрелю.
Сходились в русской Волге русла рек,
несли на водах солнца свет багровый.
Сын этой Волги —
этот человек,
Сын, сотворенный
Семиречьем крови.
Пройдут года. Сойдутся племена —
щека к щеке, уже нельзя плотнее,
как в имени ЕГО —
все имена,
мак тысячи набросков,
в полотне.
Каплан хохочет на стене.
Он рядом
смеется. Пусть безумные запомнят
Апрели наши.
Словом нашей Радости
пустые полки за стеклом заполним.

1967-1969

ТРИ ПОКЛОНА

Я вычитал в одном угрюмом доме,
где и сейчас живут мои знакомые,
слова готической старинной саги
на серой стали аламанской сабли.
Горбатое зазубренное лезвие
в крутой резне истерлось,
буквы слиплись,
но кровь не смыла смысла рифмы
«лебен —
либен».
Поэты древние,
не забывайте нас,
я ухожу по городам и саклям
за доброй рифмой
на избитой сабле,
на хрупких горлах
потемневших ваз.
Уже рифмуют «ливень —
Кара-кум»,
пусть это непонятно дураку!
Уже созвучья «белое» и «черное»
встречаются на дальнем берегу.
Луна моя, не гасни,
освети,
я разберу,
прочту, чужие знаки,
поэму неба —
черную бумагу,
копирку
в строчках Млечного Пути.

Восход или Закат над человеком?
Мой век разбит на сутки и часы.
Но помню —
миг бывает равен веку,
когда взойдет созвездие Весы.
И в этот миг —
удар, удача, визги!
До дна опустошенная обойма.
Мгновенная,
слепая слава воина
доступней мне
бессмертья летописца.
Восходы алые иль вечера?
Грань благородства
или благородия?
Смешеньем красок Завтра и Вчера
мы рождены,
пределы — наша родина.
Есть мысли, не доступные
для мозга,
и рань такая, что граничит
с поздно,
есть в каждом звуке
тишина, как праздник,
как свет бесцветный,
сплавленный из красок,
И это что-то, не смеясь,
не плача,
не объясняя и не торжествуя,
живет в природе, ничего
не знача,
я счастлив —
значит, Это
существует.
Все больше нас выходит
из раствора

обидай взбаламученных племен,
идем землей,
проходим сквозь заборы
величественных родовых имен.
Весы торчали в этом небе
разно,
светящим колоколом
и столбом,
они — знамения беды
и праздника,
Весы опять восходят над тобой.
Земля,
такою я тебя увидел,
Земля, неощутимая на вес,
меня никто пока что не обидел,
несчастлив?
Да, пока не надоест.
Рождается еще один высокий
Миг
В мире нашем, ждущем перемен,
Ты чувствуешь —
от запада к востоку
мир человеческий привстает с колен!
Ты чувствуешь,
вновь шевельнулся разум,
залило книги краскою стыда?
Не говори, что мы идем туда,
где сбудутся проклятья черноглазых.

«Традиция ислама запрещала...»

Традиция ислама запрещала
описывать в стихах тело женщины
выше щиколотки и ниже ключицы.

Однажды этот запрет был снят,
и поэт Исламкул сказал следующее:

Аллах запрещал нам словами касаться
запретов.

Ланиты, перси описаны сонмом
поэтов.

Хотело перо приподнять, как чадру,
твой подол.

Описывать бедра твои
я испытывал долг.

Довольно — джейранов
и черных миндальных зрачков,
и косы-арканы,
и луны,
и сладостный лал!

Я нищему строки о муках своих прочитал,
и нищий заплакал, и обнял,
и денежку дал.

И вот — наконец!

Ликуйте, поэты!

Настали блаженства века.

Жена, раздевайся!

Смотрите,

свобода — нага!

«Ужели дозволено ныне писать обо всем!»—

спросил христианин,

ответ был приятен, как сон.

Вперед,

мое сердце!

Отныне все будет иначе.

Народ мой несчастный узнает,
как пахнут удачи.

Теряю я разум последний

от радости страшной,

теперь я предамся в стихах

необузданной страсти!
Кумирни обрушились.
Славьтесь,
благие порывы!
Мы идолов страха с размаху бросали с обрыва.
«Свобода!» — кричал я в сердцах,
допуская загибы.
На радости шапку сорвал
и на крышу закинул!
...И вот уже годы прошли.
Я забыл о стихах,
все лезу за шапкой своей.
Не достану никак.

НЕ ЖДИ

1

Бродят в сумраках косые,
тощие дожди,
по лесам проходят злые, тонкие дожди.
По Нью-Йорку кадиллаком
проплывает дождь,
за окном залитым лает на прохожих дог.
И сияют, как отели,
горные дожди,
И бушуют, как отеллы, черные дожди.

2

Слушай сказку Аль-Темира
о делах вражды:
Закурили трубку мира
у костра вожди.
А костер дышал в тумане
пламенем пустынь,

и сидели атаманы,
плача, как кусты.
И по лицам их стекали
белые дожди,
говорили не стихами,
говорили так:
«Кто в пустыню эту бросит
шлепанье подошв?
Кто согласен?»
Слово просит
океанский дождь.
Он в песок вонзает бивни,
словно якоря,
и обильней летних ливней
слезы дикаря.
Бьется серебристой рыбкой
в неводе дождя
белозубая улыбка
моего вождя!
Если хочешь — будь счастливой,
буду страшно рад.
Хочешь? Хочешь! Мое слово
может вызвать град.

ПРОЩАНИЕ

Молчит мой зал.
Что мог, я рассказал.
Молчат седые, бритые,
обросшие.
Ну, так вставай
из добрых кресел зал,
иди в буран.

Всего тебе хорошего!
Хорошего, не злого табака
для ваших долгих трубок,
капитаны.
Хорошей вам вселенной.

А пока
хороших снов, хорошего питания,
квартир хороших,
куханок и ванн,
ковров!
В соседа вам — друзей надежных.

Вот женщина.
Детей хороших вам,
а мужа вы
хорошего найдете!

А вот — шофер.
Он в думах о резине,
чабан — угрюм —
подходит срок окота.

Я думаю:
Хорошей вам работы!
Хорошей вам Америки,
России!
Эй, мальчики столицы
и провинций!
Хороших вам поэтов
и провидцев!
Любите,
понимайте
хорошо
друг друга,
члены будущих правительств!

Про то — мечтайте,
думайте — про это,
живите
хоть немного осторожнее!
Живите завещанием поэтов:
они желают вам
всего хорошего!

«Были такие витязи...»

Были такие витязи.
Увидев женщину, слали с гонцом Послание
Знакомства
и сидели в крепости, ожидая войны или мира.
Образец послания мне любезно предоставил Н-
ский музей.

Слава, женщина, Вам.

«Что приятно для сердца;
прекрасно для глаз»,—
так сказав мой великий прадед,
известный миру отвагой и красноречием.
О себе я скажу стихами:

В одиночку не ходил на пир,
за двоих и яд
и сахар пил.
Если уставал я на войне,
знал, что враг мой
уставал вдвойне.
Дважды слов своих не повторял,
попусту не вынимал кинжала,
находил всегда — что потерял;

только то я брал,
что мне судьба давала.
Этого довольно, чтобы верить.
Прочитайте, повинуйтесь мне.
Я согласен отпереть вам двери
в полночь,
когда месяц на стене.
Будет все, что б вы ни захотели!
Если надо, пригласим ходжу.
...В общем, приходи;
поговорим о деле;
что-нибудь смешное расскажу.

ВСТРЕЧА С БОЖЕСТВОМ

Где можно говорить
о голоде и ветре!
Где — шину проколоть
на каждом километре
осколками тысячелетних вер!
В Индии, например.

...По улицам Дели бродит худая корова.
Красная, грязная лента
свисает с левого рога.
Белым бетоном запита улица —
ни травинки,
лежит на спине проспект
как длинная простыня —
ни души, ни кровинки.
Жара потому что.
Корова жует страницу газеты
«Таймс оф Индия».
Наши стихи и портреты.

Римма и Мирра.
Как зеркало — я между ними,
внук скотоводов известных
от Оно до ныне.
Буренка с трудом поглощает
волнующее известие,
набывчившись смотрит
влажным воловьим глазом,
«Неужто приехал?»
Вижу, не верит, бестия,—
событие лезет в желудок,
минуя разум.
Корова, свернув с магистрали,
минуя клозеты,
ткнув рогом калитку,
вступает в запущенный дворик.
Две чахлые розы —
пикантной приправой к газете,
галантный подарок пожеванным дамам.
Вдруг: «Воры!»
Хозяин проснулся, атанда!
Смывайся, корова.
Мелькают кальсоны,
рви когти и будь здорова!
Толкаю — иди же, корова,
ведь дело сделано,
я их задержу, не позволю пинать —
может, стельная.
Ногами — в живот,
все равно что поэтов бить!
Богиня Изида коров завещала любить.
Не бойся, за нами Египет
с Аккадом и Хеттами.
Беги по проспекту!
До встречи!

Следи за газетами.

АЗ ТЭ ОБИЧАМ

Пьянее черного вина
чужого взгляда,
мне для гармонии — она,
а ей не надо.
Мне до свободы нужен шаг,
а ею пройден;
она предельна, в падежах,
я только — в роде.
Она в склонениях верна;
я — в удареньях,
так выпьем темного вина
до озаренья,
поищем горькой черноты,
чтоб излучиться,
событью нужен я (и ты!),
чтобы случиться.
И разве не моя вина,
что не случилось.
И разве не моя вина —
не получилось.
И разве не моя вина —
не сделал кличем:
аз тэ обичам,
я люблю,
аз тэ обичам.
Перемещаются во мне
шары блаженства,
подкатывает к горлу ком —
знак совершенства,
скажи негромкое:

жаным, аз тэ обичам.
Подай мне руку,
есть у нас такой обычай...

МАТЬ

В Болгарии есть памятник матери поэта Димчо Дебелянова. На каменной завалинке сидит, подперев щеку, старушка, окаменевшая от горя. Он был самым застенчивым парнем в селе. И оказался самым бесстрашным на войне. Был самым незаметным, стал самым славным. Это — мамо:

— Если ты человек, сотвори себе имя,
и, быть может, оно
станет символом племени,
молодым и угрюмым,
как вечная ива,
что склонилась
над холодом быстрого времени.
Путь — всегда далеко,
труд — всегда нелегко.
В жадный рот я толкаю
набухшее вымя,
я в тебя погружаю свое молоко,
будь большим, наконец,
сотвори себе имя.
Только как, я не знаю,
советов не дам.
Твое имя не здесь —
где-то там,
где-то там.
Когда смерть захохочет и плюнет
в глаза,
когда друг упадет на траву,

как слеза,
когда все пути повернут —
назад,
о, тогда я сумею тебе подсказать:
«Будь нескромен, сынок,
ты огромен, сынок.
Встань под взглядами дул,
пусть увижу —
ты СМОГ!»
И тогда, ой, легко будет мне сказать,
указать на тебя,
на себя указать:
«Этот скромный юнак,
он и вправду — казак,
эта старая женщина— -
его мать».
Так запомни, сынок,
где б ты ни был,— везде
будь
заметен
в БЕДЕ.
А когда над долиной -
свинец не свистит,
когда время ползет
и твой век
не летит,
люди пляшут, не плача,
смеются без слез.
Когда девы не прячут
поспешно волос,
когда робкие парни
гордятся собой,
будь тогда незаметен
застенчив, сын мой.

ПОСЛЕДНИЕ МЫСЛИ МАХАМБЕТА, УМИРАЮЩЕГО НА БЕРЕГУ УРАЛА ОТ РАНЫ

Мне удивительно: когда я весел,
что ни потребуется — все дают,
когда захочется унылых песен,
мне их с великой радостью поют.
Бываю рад, и все —
бывают рады,
я убегу, и все
за мной в кусты.
Когда в жару я вижу дно Урала,
мне кажется, что все моря пусты.

И потому, когда кочевье выманил
все мое племя,—
я один пашу,
когда никто не смеет слова вымолвить,
мне рот завяжут —
я стихи пишу.
Эх, если бы сказали мне:
«Великий,
прости людей, уже пора — простить,
мир будет счастлив
от твоей улыбки!»
Тогда бы я старался не грустить.
Сказали бы смущенные мужчины:
«Моря полны водой, пока Урал
не высохнет.
Пока ты жив, мы — живы...»
Тогда бы я, клянусь,
не умирал.

Я отправился в дальний путь,
я запомнил такой закон:
если хочешь,— веселым будь,
только прежде стань стариком.

Хорошо под луной старику
и под солнцем ему хорошо —
похохочет в глаза врагу
и согнет он его в дугу,
и сотрет он его в порошок.

(В каждом дома ждет меня чай,
одеяло и теплый хлеб,
и объятие невзначай,
если муж глуховат и слеп.
Каждый рад мне руку пожать
и спросить о здоровье коня,
мне бы так людей уважать,
как они уважают меня).
Глазки бегают, словно ртуть,
надоело — с таким лицом:
если хочешь,— унылым будь,
только прежде стань подлецом.

И качается, долгий путь.
(И шатает меня закон:
— Если вспомнил кого-нибудь,
запечалился вдруг о ком,—
бей в свой правый висок
кулаком,
бей в свой белый висок
кулаком.
Бей великим ножом
в свою грудь.
Упади,

умереть не забудь).

ГАДАЛКА

Зайди в мой дом,
со мною подыши.
Открой себя, как открываешь двери,
сними одежды пыльные с души,
доверься так, чтобы тебе доверить.
Если плясун, зачем стоять?
Спляши!
Пусть рухнет балка
над моей гадальней.
Если поэт —
прочти мне для души
дастан Саади о дороге дальней.
Ты возбуди во сне угасший дух,
зачем огонь моих огромных окон?!
Где жив один,
найдется жизнь для двух,
не обойди тот дом, где одиноко.

КУЧЕВЫЕ ОБЛАКА

*Жаворонок:
«Мама, слышит только ястреб
песенку мою».*

Есть у меня особые слова,
они сидят, нахохлившись, как совы,
в душа моей,
в крови моей бессонной,
и просится еще одна сова.

Я раздарил бы их,
но кто возьмет?
Всегда желанны соловьи горластые,
еще один бесшумный, темный год
летит в меня...

Теперь скажу о ласточке.
Ей провода под током — нипочем,
летит она над красным кирпичом,
над крышами Казанского вокзала,
спешит догнать, сказать,
что не сказала.
И унеслась, пронзая строй ладов,
и крылья, как раскинутые руки.
На проводах сидят ее подруги.
Как много над вокзалом проводов.
И будет мне дорога далека,
и каждый полустанок,
как — Казанский...
Развалины моих воздушных замков
напоминают эти облака.

СТАРИК С РУЖЬЕМ В УЩЕЛЬЕ

Из-под елей горелых доносится голос елика^[20],
потерявшего мать,
этот свист опаленных древним пожаром
птиц.
Лес давно отчернел,
и уже зеленеет трава,
в мураве зачинается жизнь недовольных ежей,
у ручья — ежевики густые кусты
и малинник.
И еловые корни бегут по земле

и над ней —
никуда не уйти от земли.
Разве в небо бежать...
Ты лежишь на дубовом прикладе ружья
щекой,
и морщиниста, словно кора,
щека
старика,
суковата рука, обожженная жаром гор,
гладишь бороду, словно бороду бога,
этой рукой.
Где-то там на лопатке,
ужаленной слоем тепла,
щекочет кожу живой одинокий нерв,
нельзя почесаться спиной о пенек:
слышишь плач
одинокого малыша, потерявшего мать!
Шевельнулись усы, и на шепот
сползаются думы.
Стариковских болезней, как видно,
приходит пора.
И не вдруг понимаешь:
вся жизнь твоя, будто — вчера
проплыла череда облаков
над горами седыми.
И лежать бы, лежать...
пусть щекочет лопатку нерв.
Наблюдать —
солнце к небу, словно лепешка к тандыру,
прилипло,
и сквозь дрему послушать
ручья одинокие всхлипы.
Это солнце оставить в наследство
навечно своей спине.
Наследство?.. Ах, да...
Это след у ручья пред тобою.

Он вчера приходил,
но вернется ли вновь к водопою?
Протяжно, лениво пахнет сырая земля отручья.
Как пересохшее русло,
пусто дуло ружья,
блик солнца прощупал
корявую вену на левой руке,
старый сутулый палец
уснул на теплом курке.
Плачет все ближе
в малиннике маленький елик,
и зарастает травой
обгорелый ельник...

ЭМИЛЬХАН ХАЗБУЛАТОВ :

*— Вблизи чеченского села Бамута
найден самый древний в мире котел.*

— Вы знаете, где озеро Козуна ?
— Не знаю. Где?
— Там, где парит орел.
Все правильно, все верно,
все разумно —
кинжал искали,
а нашли котел.
Ребята-археологи копались
В земле Бамута и нашли,
подчеркиваю — не обломки палиц,
вейнаховский котел они нашли!
Когда-то в нем варилось
мясо тура,
он гостя выделял в семье
всегда,
он горд, когда он полный,

и сутулый,
казан мой, перевернут он когда.
Но он дошел до нас не перевернутым,
он устоял,
он полон был
землей,
землей Чечни, как кости перемолотой,
горячей, выкипающей землей.
Холмы, холмы,
о горы моей родины,
как опрокинутые казаны...

ДЕКАБРИСТЫ

Н. Ровенскому

І
В тех церквах молчат исповедальни.
«Любопытство заменило веру,
римскую империю — Италия»,—
говорят революционеру.
Толпою входим в крепости и в тюрьмы,
«Здесь царь сидел на нарах,
как простой».
Пустая, неразрушенная штурмом,—
что может быть страшней
тюрьмы пустой,
«А здесь родился вождь былых восстаний».
Горшок вождя, подсумок
для калош.
В шкафах — несбывшиеся предсказания.
Так объективной правдой стала ложь.
Так преломилось время в нашей призме —
эпохи олимпийских революций прошли,
настали времена туризма.

Дни пасмурны в музейных городах,
как в исполинских полутемных залах,
молчит гранит на серых площадях.
Зато отчаянно живут вокзалы,
выбрасывая жирную толпу,
полки самоуверенных туристов,
не знающих обычаев табу,
ни цен на памятники
исторические.

II

О, город — сын поэм и поздних бурь!
Романтику легко стать ретроградом,
иду, иду в твой зимний Петербург,
хочу пройти весенним Петроградом —
пасхальную увидеть карусель,
услышать: «Что-то новое воскресе!»
И там, где вечно на приколе крейсер,
кормить французской булкой карасей.
Увидеть лица гипсовые, впалые,
воротников крахмальные ошейники,
манжеты, словно белые кандалы,
под черными крылатыми шинелями.
Великих критиков граниты финские
молчат на площадях и смотрят слепо.
Ушел весь мрамор петроградских фидиев
на плиты гробовые и на склепы.
На карте времени
я укрупню масштаб,
чтобы увидеть главное
попроще —
жить на Конюшенной,
глядеть с моста,
не быть прохожим на Сенатской
площади.

«...В эпосах неслыханных, китовых...»

...В эпосах неслыханных, китовых,
в тугоплавных ритмах многотонных,
с доброй монотонностью-прибоя
не воспета ль птица Raja Bhoja?
Не соврет, не открывая пасти,
не простит мой мудрый головастик,
атлантический молокосос,
первый звук китовой речи знаю —
это SOS.
Дух Великий!
Бочки интеллекта.
Мозг его возили на телегах.
Плавает он,
как огромный кус —
амбра, сало и какой-то ус.
Жаль, икру китовую не мечет.
Что в 2000-м он молвит человечеству?
Было ль наводнение, потоп?
Мы потопли. Что было потом?
...Я распластан на твоём горбу
меж тобой и острием посредник.
Ты снишься мне — нас бьёт один гарпун,
последний, верь,
он всякий раз — последний.

АКТЕР И НОЧНОЙ ГОРОД ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ

Притворяется мост
черной радугой,
притворяется лондонским
дождь.
В ладоши стучат.

А не радуется:
это шлепанье мокрых подошв.
А болезнь притворяется гриппом;
эта женщина — недоступной.
Отворяется дверь со скрипом,
закрывается дверь со стуком.
Человек притворяется штатским,
но не очень, а так,
на пятак.
Притвориться бы принцем датским!..
Посоветуйте, штатский,
как?
Согласитесь, талант — притворство.
Как же грустному притвориться
Грустным?
Видите эти лица?
В них отчаянное упорство.
Эти будут, уверен,
грустными!
Эти в принципе не отступят!
Обнимают они — до хруста,
и садятся на стул со стуком!..
Мы несчастны, и вам это нравится,
о, оно снисходительно, зло.
Мы угрюмы, чтобы вам было радостно.
Мы печальны, чтоб вам повезло!
Надоело играть до смерти,
дверь свою отворяешь,
как вор.
Спишь.
И снятся аплодисменты.
...Во дворе кто-то палкой выколачивает
ковёр.

НАЗЫМУ ХИКМЕТУ

*«Когда смерть наступает, — беги,
беспоощадна она, как любовь», — по-
видимому, сказал Али-бей, прощаясь с
женщиной Аллой. Он звал ее именем бога
— Алла́.*

Алла́,
куда мне податься?
Рассвет — это поздно иль рано?
Все стихи — в чемодан, в Хоросан,
к черным фарсам в Иран!
Я писал о любви,
как писали поэты Ирана.
Их взводили на башни
и сталкивали
по утрам.
В Лондон? Холодно.
А Париж? Кружева и зеленые статуи,
и опять
кружева, кружева, кружева,
города, города
и вода под мостами старыми,
реки, женщины и Москва.
В Миссисипи я плавал,
в Амазонку бы прыгнуть с пираньями:
ты — по грудь и по горло,
кричишь по-индейски — ав-ва-а!
...Струи пара восходят над Волгой весенней
спиралями,
кружева, кружева облаков над тобой,
ах, Москва!
Книги, пыльные книги,
как вымершие языки,
я с тобой говорил на забытых

ничтожных наречьях,
(может, мой чемодан заберут на баркас
рыбаки?..)
Языки эти были, клянусь, о Алла, человеческими.
Я тебя собирал по клокам,
по слогам,
по словам,
ты — в томах,
ты — в брошюрах, не тронутых костяными
ножами,
я тебя увезу далеко-далеко по волнам,
всю —
от сказок до книг,
над которыми плачут ночами.
Ты у горла — всегда,
ты у крика всегда на пути,
твое имя, Алла,
словно первое слово корана,
я кричал о любви, как не снилось поэтам
Ирана!..

Я молчу.
Я люблю.
Никуда от тебя
не уйти.

ВОЛНА У КАМНЯ СААДИ

На берегу Средиземного моря торчит из песка
камень. У этого камня, по преданию, останавливался на
минуту Саади. К этому камню раз в году приходит,
обогнув землю, волна, которая его видела.

У финикийских гор
Она прошла,

между столбами Калпе и Абила,
о камни Нэгро
губы обожгла,
в Бискайе, злая, корабли топила.
Суденышко качнула, словно
люльку,
спокойно сбила
паруса огонь,
и алая фелюга, словно флюгер,
крутнулась
и простилась с рыбаком.
А он цеплялся за ее бока.
Не за себя —
за рыбака просила
фелюга!
Красный траур кушака
волна на камни молча выносила
и наблюдала —
закричат они?
Иль промолчат
закутанные женщины?
Ей не забыть тот берег
обещанный
И факелов случайные огни.
И женщину по имени Шамхат,
ту, что стареет у скалы базальтовой,
ту, что приходит на берег в закат,
не забывай, моя волна,
пожалуйста.
Она была похожей на волну
веселую,
как острый край платка.
Не забывай ту женщину,
одну.
Запомни, как поэта,
на века.

Душа волны туманами восходит,
бескровными на юге
облаками —
упругими фигурами восковыми,
спокойными пустынными богами.
Волне возможно
возвратиться с неба,
когда б в раю ей плавать
надоело
пролиться ливнем,
и растаять снегом,
и воплотиться вновь
в морское тело.

А рыбаку? Его ты утопила.
Играя и лаская, утопила.
В его раю — песчаная пустыня:
ему моря при жизни опостытели.

Он там остался,
но случится чудо —
вернется он на землю
лишь арабом —
плевать в песок,
кататься на верблюде,
молить аллу о самом мокром рае.
И, может, я когда-то был корсаром,
ел солонину
и тонул в воде,
теперь живу я в самом ярком, в самом
безводном крае,
где уныло, где
вараны ползают, как крокодилы,
верблюды — динозаврами в степи.
Но
я вернусь в моря,

где проводил я
фелюги,
ты меня не утопи,
бездельница,
зеленая,
литая,
с большим цветком медузы
на груди,
лети, пенорожденная,
взлетая,
фелюги, словно флюгеры,
крути.
Устань в пути,
плыви в заливы Сайды,
(орлами на плече
качнутся катера)
и теплыми ладонями Саади
погладь, волнуясь, женские тела.

СЛЕДЫ

Безусловно,
след вот этот —
твой.
Тысячи следов, чего бы ради!
Птичками на белой мостовой,
словно на полях моей тетради.
...Символы моих ночных ошибок,
синие, как на лице ушибы...
Отыщу в толпе лицо любимое,
в словарях найду слова хорошие,
как собак — дорогами избитыми —
за город на свежую порошу,
на поля, от злых пометок

чистые,
там, где снег невеждой не зачитан.
Может, ты лисинкой рыжей —
в горы?
Может быть, волчинкой синей —
в соры [\[21\]](#)?
Может, куропаткой белой-белой
крестики по снегу раскидала?
Улетела тихо за пределы,
в жирные шиповники Китая?
И уже кресты ведут обратно,
в стороны, в обрывы,
в ямы, в горы —
черные вороны для порядка
проходили по полю проторенному,
протараненному, раненому снегу,
смятому, истоптанному страшно.
У крестов вороньих
о тебе я спрашивал,
и кресты мне отвечали:
«Нету».
Снег идет, следов
не оставляя.

«Над белыми реками стаи летят...»

Над белыми реками
стаи
летят,
как черные хлопья
сгоревшего лета,
летят, развеваясь,
как черные ленты,
летят мои утки,

куда захотят.
Озера соленые, сладкая тина,
чебак африканский,
негорький,
бескостный!..
Мне кажется—
с медленной стаей утиной
покинула родину Птица Спокойствия.
И сизые перья осели на реки,
ушла, я боюсь, что устанет, устанет,
останется там,
где навеки, навеки
я сам бы остался.
Наверно б, остался.
...Весною восходят они
Из-за гор,_
лучами тяжелыми,
первые клинья,
устало вонзая потертые крылья
в прозрачный и вязкий
воздушный раствор.

ДЕВУШКА НА ЗЕЛЕННОЙ ТРАВЕ

*Zapomniec — забывать.
Zabytiek — памятник.*

Польск.

В пустых бараках Майданека пахло сырой стариной.
Высились под крыши груды обуви, серых волос.
Маленькая газовая камера (30—40 кв. м).
Крематорий, сжигавший человек двести в день.
Варвары.

Сегодняшняя техника позволяет мгновенно превратить в пепел все 3,5 млрд. вместе с этими газовыми камерами и крематориями.

Адама^[22] манили в Адэм^[23]
и пугали адом.
А ну-ка, наука!
И —
явлен Адаму,
атом.

Уютное прошлое уже не может повториться в наш веселый и доблестный век.

...Чиновник из люблинского магистрата жаловался на художников. До сих пор не создали подходящего памятника двум миллионам погибших в Майданеке.

«В Бухенвальде, в Освенциме и в других, говорят, уже поставлены, а у нас все еще чешутся».

Он произнес — «тешутся».

Памятник создать трудно. Легче —
сжечь,
расстрелять,
уморить голодом,
чем придумать, «вычесать» глубокомысленную композицию, которая бы, напоминая, утешала.
И потому, наверное, в художники не каждый, идет.
Но каким все же должен быть памятник жертвам?..

И
Концлагерь — это не только труба
и дуб зеленого дыма — в небо.
Это — голая площадь,

это — трава,
которой на площади
нету.
Выискан, съеден каждый вершок —
корешок.
Редкие (через проволоку) листки залетали
из леса кленового осенью.
Их съедали.
Узникам снились, от голода желтым,—
клевер, люцерна, ромашки и желуди.
Тысячи снов клубились над трупами,
сплачиваясь в лохматый стог,
в котором —
полынь и дикий чеснок,
сочный лопух и ревень высокий,
мясистый кактус, типчак и осока.
Этот гербарий был гербом голода.
«Три года после нас не росла трава»,—
в Освенциме и в Майданеке я слышал
эти слова.

II

Рядовой неизвестный концлагерь
близ Ополе-города,
всего 300 тыс. военнопленных,
убитых
голодом.
...Было очень тепло и тихо,
сентябрь, отдых.
Шумели шмели недовольно
в громадных ромашках,
нервный ваятель пил ароматный воздух,
запрокинув лицо,
как из фляжки.
На постаменте — фигура скелетная скомкана.
Этот памятник приз получил

на каком-то конкурсе.
Я должен был восхищаться
великой скульптурой,
ее положением жутким,
ее кубатурой.
Прекрасно набран, впечатан памятник в небо,
скелет читался огромной каракулей —
ХЛЕБА!
(Так пишут стихи, вынося идею в заглавие.
Так громко просят не хлеба,
а славу).

III

Как уже сказано, было тепло и тихо,
глаз, уставший от грома знаков,
жаждал петита.
Дева в траве загорала,
раскинув руки.
Лениво мяла травинку
губами упругими,
алела разлаписто,
как лист,
занесенный ветром
из леса кленового,
который — в двух километрах:
ефрейтор валялся рядом,
лоснясь лакированным поясом ,
довольный,
как будто — по голому полю ползал,
нашел,
приволок, задыхаясь,
любимой узнице
добычу зеленую —
стебель травинки узенький.
Они лежали рядом с запретом «ТРАВУ НЕ
РВАТЬ».

Случайно ли это?
Наверное, просто — дерзость,
В скверах и парках мы эти таблички
с детства
привыкли не замечать.
Но здесь — замечательно слово —
нашел свое место действенное
этот петит, уверенный, как невозможность,
(когда-то заставят и станет
любая пошлость
трагически девственной).
Памятником человеку
(логика такова!)
не камень и не железо —
стала
трава.
Выросшая на удобренном пеплом подзоле,
на плоской поляне близ польского града Ополе.
И я ощутил внезапное чувство
утраты —
хочу увидеть
гения из магистрата,
который,
не помышляя о славе,
вбивал в пырей
лучшую эпитафию
жертвам
концлагерей:
«Траву не рвать!»

IV

Художникам нечего делать
на этом поле,
таланты их бесполезны —
они болезненны.
Поле — всего лишь символ

свободной воли,
обыденность здравых запретов —
это поэзия.

Любые запреты наполнены
светом предчувствий,
бессильна фантазия предугадать
их путь,

но кажется мне:
свободное их присутствие
скажется в ходе историй
когда-нибудь.

Я помню и первую заповедь
и еще,
люди не понимают иносказаний,
пока не увидят собственными глазами
закон, воплощенный:

«В историю
вход воспрещен».

Теперь я с тревогой вглядываюсь в запреты.

Их много понаготовили
поэты из горсоветов:

«НЕ ШУМЕТЬ».

«НЕ СОРИТЬ».

«НЕ ВЫСОВЫВАТЬСЯ».

«НЕ ПЛЕВАТЬ».

В казарме одной я видел:

«НЕ ВОЕВАТЬ».

В публичном доме видел;

«НЕ ЦЕЛОВАТЬ».

О, если бы мог запретить магистрат
голодать,

убивать,

изменять,

насиловать,

унижаться.

Художникам лгать запретить бы и

обижаться.
Я бы разрушил все изваянья Плача,
чтоб росла трава после нас,
ничего не знача,
чтоб лежали в траве,
лениво нежась,
любимые,
ничего не зная про то, что они
убитые.
Я бы больным поэтам
прописывал истины,
иносказания — лживы,
они убийственны.
Поле — свободный символ
здоровой воли,
Пройдя сквозь дебри,
мы снова голы
на этом поле.

*Зузане Шавырдовой, Иванке Павловой,
Сентябрь. Ополе.*

ДЕВОЧКА В ЖЕЛТОМ САРИ

*Прошли митинги протеста в
Стокгольме, в Вашингтоне, в Индийском
штате Бихар, в Стамбуле...*

Из газет

Ты знаешь, редактор, что такое Бихар!
Эта земля лежит недалеко от экватора,
эта страна без комбайна и элеватора.
Такыр не измерить ни акрами
и ни ли.

Ты не видел, редактор,
той исхудалой земли.
Февраль — первый месяц сезона дождей,
саун.
Его так ждали в марте индусы,
саун.
И не дождались в апреле,
саун.
Ветер ограбил черную тучу,
выбелил,
саун прошел стороной — океаны выпили.
Листья пальм одиноких опали от зноя, -
саун.
Качается на качелях
девочка в желтом сари...

И
Шли люди, чернее черных теней,
и тяжело им было тащить свои тощие тени
по белой растрескавшейся земле.
Но они не плелись, голодные,— шли
на площадь
послушать
поэта Шри.
Как на индусское самосожжение
шли,
питаться воображением
шли,
не житом единым жить,
пришли
увидеть не Шиву —
живого Шри.
Кости ребер линуют рубашку Шри,
ноги не держат,
падает локоть Шри,
кивает беглая, как ромашка, головка

Шри,
на черном жилистом стебле
в такт шлокам^[24].
Сладость в речах — драгоценная мантра.
Зачем она?
Если нет на обед народу
гнилого манго.
Съедены корни сезама^[25],
обглодан кикар^[26].
Митинг в защиту Вьетнама
в штате Бихар.
Лозунг рисованный виснет на
пальмовой палке,
Шри шелестит
о вьетнамке, сожженной
напалмом,
тысячи недоеданий собратьев — голод,
тысячи непониманий молчащих — голос.
«Нет в мире каст
иных, —
кроме голодных и сытых,
нет людей раз-
ных,—
кроме живых и убитых.
Хочется есть
нам,
мир тебе, Вьет-
нам».
Демонстрации шведов, даний, америк
не потрясают!
Сыты, по крайней мере.
Шри не протянет и четырех дней.
Эта
умрет ночью.
Слово о ней.

II

Печально, смущаясь своей обреченностью,
полулежит на газете девчонка,
взлетает в небо и возвращается,
как на качелях, она
кончается.

Локтем бессильно—
в щеку Софи Лорен,
И вырывается, око таращит
кинокрасавица,
кажется мне — итальянка локоть кусает,
стройные ноги ее
запутались в желтом сари.

...Шри пел, а я хоронил
свои тощие книги.
Они умирали от истонченья,
хрипели.

О чем мы пишем?
Чем наполняем крики?
Когда нет хлеба в Бихаре,
зачем мы пели?..

Бездарны лиры, фанфары — лживы,
искусство — слепо,
когда у девочки в желтом сари
в глазах нет хлеба.

Ее расстреляет ночью
рисинка,
которой нет,
об этом предупреждает девочку
Шри, поэт,
пока прибудет обоз
из провинций Непала,
ее сожгут индуисты,
но раньше —
вьетнамку напалмом...

Качается на качелях долгот
и горизонталей,
взлетает из Индии,
касается локтем Италии,
долгая ночь приближается,
Шри умолкает,
И возвращается девочка
и улетает.
— Мама, пришли за мной дядю,
саун идет.
— Дядя твой умер, дочка, саун настал.
— Мама, пришли за мной брата, саун идет.
— Братец твой умер, дочка, саун настал.
— Мама, приди за мной, мама,
саун идет.
— Мама твоя не встанет,
саун пришел за тобой...
...На алтаре корчится
девочка в огненном сари,
этим сожженьем окончился
митинг в Бихаре.

*Марьям Салганик, Римме Казаковой.
Апрель, Калькутта.*

МИНУТА МОЛЧАНИЯ НА КРАЮ СВЕТА

...На краю самого южного мыса Индостанского полуострова мыса Канья Кумарин — белеет скромным мрамором гробница великого непротивленца Ганди. На его долю пришлось пять выстрелов. Пять кровавых пятен на белой рубашке, пять кровавых кругов. Может быть, они подсказали художникам символ мире, который мы видим на белых олимпийских знаменах.

...В спину Ганди стрелял индус, не то националист, не то фанатик.«Сволочь!» — просто охарактеризовал убийцу мой спутник Чаттерджи.

Г. Чаттерджи худ, выжжен зноем до кости. Силуэт его четко отпечатан на экране могильной стены.

В этот день в Америке свершилось насилие — убили негритянского гандиста Мартина Лютера Кинга. Индия почтила его память минутой молчания. 500 миллионов минут молчания. Равно — тысячелетию.

За каждым выстрелом «какой-то сволочи» — века молчания.

О чем думал Чаттерджи в свою минуту?

...Мыс Кумарин, отбывает закат,
масса красотостей — пальмы
и тодди —
в кубке, отделанном под агат.
Тонкая штопка на бязевом дхоти.
Черные пятки — в твердый песок,
жилы на икрах сухих обозначив,
пьет, проливая пальмовый сок.
Я поднимаю глаза —
он плачет.
Дышит, пульсирует впалый
висок.

«Смотрит на Азию
Белый Глаз!
Небо чужое сглазило Азию,
черная мать
с каждой оказией
беды свои досылает
до нас.
Азия — схема, стереотип:
голода схима,
холера, тиф.

Неразрешимый живот аллегорий,
прошое в каждой строке —
редиф.
Смотрит на нас
Белый Глаз
кровью прожилок —
границами каст,
неприкасаемая свобода,
сгорбась, уходит
в дебри фраз...»

Крашены солнцем заката двери
грустной гробницы,
лица,
слова
громадной далью валит на берег
неприкасаемая синева.

II

В азиях я говорил с тобой,
Глаз Голубой:
в европах встречаются с Карим
и с Черным Глазом —
они меня на площадях искали,
в глуши библиотек,
они мне щедро подвиги сулили
во имя Азии,
страницами мне в душу
боли лили
и в мысли влазили
Конфуций
и ацтек.
Не лучше ли,
отринув имена,
уйти в орнамент
безначальных знаков?

Пить сладкое,
не обижая дна,
любить шенгель,
не предавая маков?
Найтием воспринимая мир,
цвета вещей не утруждая смыслом,
из чистых звуков
сотворив кумир,
смеяться — песнями
и плакать — свистом?
Но хлыст и выстрел
отвечали — нет!
Звук обнажает скрытые смятенья:
и боль и злоба —
каждое явление
имело
цвет.
Не разобраться в них —
цвета кишки!
Грудь открывая,
обнажая шею,
иди, пока не поздно,
к простоте.
Увериться в неясной правоте
тех, кто не хочет
ни отмщенья
и ни сочувствия к своей судьбе.
Вступаешь в свет,
становишься мишенью
и — поразительно
легко тебе.
Из тьмы огней
Глядит прищурясь мрак,
отсвечивая оптикой прицела.
И свет воспринимается,
как целое.

Делимое наотмашь —
ты и враг.

III
Есть они, Чаттерджи,
в каждой стране,
в каждой волости —
сволочи.

Их не узнать по разрезу глаз,
по оттенку кожи:
может сиять, как якутский
алмаз,
быть на уголь похожим,
плешью блистать в ползала,
прямить и курчавить волос.
Все равно —
сволочь.

Узнать их не просто:
их цвет отличительный —
серость.
Она растворяется в черном,
как в белом и в желтом,
возносится серость бронзой,
блистает золотом,
в темных углах души
собирается серость, как сырость.
Белый стреляет в черного?
Серый стреляет.

Черный стреляет в белого?
Серый стреляет.
Серый взгляд
проникает в сердце,
пронзительный, волчий.

Узнаю вас по взгляду,
серая раса —
сволочи.
Понимаю, пока
в этом самом цветном столетье
невозможны без вас
даже маленькие трагедии.

Невозможны без вас
ни заботы мои,
ни смех.
Невозможны без вас
и победы мои,
и смерть.
Вам обязан — атакой!
В свете полдня
и в холоде полночи
я ищу,
я иду вам навстречу,
серые сволочи —
сквозь мгновенья ошибок,
отчаянных самопрезрений,
чтоб минута молчанья
стала временем
ваших прозрений.
...Синева потемнела.
Гробница великого Ганди
белым куполом
обозначила Азии край.
Багровым оком встала луна
и на мокрые камни
положила сиянье,
и в пальмах возник
птичий грай.

5 апреля, 1968

«Ну что же, облака...»

Ну что же,
облака
стоят над городами,
нет выхода пока,
иду над облаками.

А там внизу — стога
на берегах протоки,
и серые снега
и черные проселки.

В излучине реки
кончается дорога,
веселые мальки
у самого порога.

Там женщина меня,
рванув платок, встречала,
и, напоив коня,
поила гостя чаем.

Глядела молча в ночь,
прищурясь,
как от света.
Когда нельзя помочь,
меня спасает это:

зеленые стога
на берегу протоки,
лежит ее рука,

сжимая пук осоки,
веселые мальки...

...И улыбнулся летчик.
В излучине реки
разбился самолетик.

МУРАВЕЙ (диалог)

ОТ НАБЛЮДАТЕЛЯ

Есть одно определение: поэзия — это не наука.

Уточним: наука — химия, поэзия — алхимия.

Я постараюсь набросать портрет алхимика, занятого поисками эликсира жизни. Этот образ навязан мне чистюлями-химиками.

Алхимик — озабоченный чудака в грязном полосатом халате. Он собирает в огромный тигель кучу всевозможных реактивов, помешивает пальцем, подбрасывает в толку огня и ждет, подперев щеку: взорвется или не взорвется?

И это немытое, заикающееся ничтожество, ищущее средства несправедливые для продления жизни, правдолюбивые химики часто сжигали в том же тигле.

Следующий алхимик, рассматривая осадок, находит, что именно этого компонента не хватало в вареве.

Алхимики, увлеченные поисками идеального, попутно понаделали массу полезных для науки открытий. (Например, синтезировали философский камень). И теперь уже солидная наука, чей академический клубок происходит от засаленного, прожженного колпака алхимика, посмеявшись над забавным предшественником, пришла сама к поискам эликсира бессмертия.

Древние знали, что это средство необходимо природе...

Действующие лица

Биофил.

Недействующие лица

Некрофил.

Муравей.

Смерть муравья.

Место действия

Развалины какого-то храма за границей

Время действия

Наша эра

Сюжет

Двое (прохожих) наступили на муравья, влачившего соломинку рисовую.

Полдень. Они устали.

Биофил сел на обломок стены, свесил ноги, достал из-за пазухи кисет, высыпал на ладонь горку табаку, втянул в одну ноздрю, потом в другую. Застыл, вытаращив глаза, — ждал реакции. Пока не дождался.

Некрофил стоит над трупом муравья. Любая смерть располагает его к раздумьям. Подошвы его сапог и голенища в бурых пятнах крови.

I

Биофил

Ну, говори...

Некрофил

Поговорим. А толку!

Наш муравей не встанет,
не выгнет сильную холку,

соломинку не потянет.
Прощай, насекомый брат,
прекрасный организм!
Кто, скажи, виноват,
что ты пробирался низом?
Кто нас поместил сюда,
таких
разных?
Ты шел по тропе труда,
а мы —
праздно.
Ни зла от тебя, ни обид.
Попался
под ноги.
И вот результат —
убит.
А мы! Подлые!
*(Биофил так и не чихнул.
Снова запустил руку в кисет.)*

Биофил

Жизнь, как видно, прошел
в дерьме до бровей.
А мы бы могли остаться в друзьях,
если бы взял он чуток правей.

Некрофил

Почему должен он свернуть,
а не мы!

Биофил

Он бы мог и без нас скovyрнуться
сто раз.
Кругом дремучие леса —
его склевал бы воробей,
или втянула б в нос лиса.

(Мечтательно)

Уж он бы ей в носу поскреб!..

*(Снова вдыхает табаку, остаток с ладони
закладывает за губу.)*

Некрофил

Да, мы не можем выбирать,
природа выбирает,
кто в мир приходит вымирать,—
тот вымирает.

Свободен в выборе лишь тот,
кто с миром вровень...

*(Биофил еще надеется чихнуть.
Табак на языке мешает высказаться
четко и ясно.)*

Некрофил

Конец — вот истина, что бесконечна.
Меня влечет, притягивает мрак.
Основа чувства всякого — есть страх.
А ты, дурак, как ты настроен к жизни!

Биофил

Мудер ты, вижу, но и я не прост.
Чего пытаешь, я не Роберт Фрост.
Я смерть не знал и жизнью,
предоволен.
Я завсегда почти прекрасно болен.
А темноту я люблю. Вдвоем тем
более.
Да не с тобой.
(задумчиво). А может, ты — добро?..
Я ногтя за пустое не отдам.
А если гарантирует Адам
еще одно ребро?
Любовь — другое дело, — это

чувство.

Некрофил

(обрадованно.)

Основа чувства всякого —
есть страх!

Биофил

Вот я и думаю сказать, да все боялся:
а может, он дикарь среди муравьев?
Небось до этого жену чужую сгреб,
пузатую, с покрашенной клешней.
Тащился к ней с концом да
надорвался.
Давай кончать, напишем некролог,
расскажем, как дело было... Ну, раз-
давили ненароком.

II

Некрофил

Нет, нет, еще не время.
«Кто видел в трагедии мужа
с кривыми ногами?
И все, что на сценах вселенной
случается с нами,
смешно иль ужасно.
А нам волновать бы хотелось,
чтоб каждое дело твое,
как событие, пелось,
о стихотворитель», —
так мне говорит Муравей.
Ты прав, покойник.
Трагедии твоей смешны наши комедии
на нас непохожие
могут героями фарса быть,
но не трагедии.

Их переживания слез не достойны,
их муки — кривлянье,
агония — пляс!
Все!
Исчерпаны ценности веры,
по всей природе идут премьеры
трагедий и фарсов.
Родятся примеры.
Рождаются эво!люци!онеры!
Нас окружает облавой слава,
сверкает мысль — блесна —
с эстрады,
плотва на акульих крючках
вопросов
бьется!
Довольно!
Отныне любой, кто страдает,— герой!
Погибает паук в трясине своей
паутины,—
взлетает плач
мух.
Мы слышим стон рыб
в паутинах сетей.
Путина.
Мы, люди, мы стонем,
когда захрустел
муравей.
О, как беззащитны улитки, им
панцирь бы бронзовый,
чтоб птицы давились.
О, как беззащитны, птицы —
им крылья стальные,
чтоб стрелы, дробились.
Даже мифы, беспомощны —
все уязвимо в природе.
Красоте не хватает глаз,

а уродство — зряче.
Бесконечны, формы насилия —
как иначе!
Мы возглашаем —
прекрасен неуклюжий кактус!
Чертополох уродливый — чудесен.
Они не подражают
формам маков.
Растут и значит —
мир неодинаков.
И, значит, бесконечно
аномален.
А разве красота не аномалия?
А разве аномалия— уродство?
Стань на колени пред собой,
дурак.
Как побежденный,
плачь от восхищения,
целуй подошвы ног своих немытых,
ты идеален,
идеал немых.
Поговорить с собою —
привилегия.
Ты — выразитель чувств своих к себе.
Ты славен —
ты себя узнал.
Зачем тебе, чтобы другие знали,
что ты велик!
Оставь других, бог с нами!

Биофил

Пованивает. Муравей протух.
Гляди, как крыса стал. Он от жары
распух.

Вдоль задника проходит баба в черном. Ее не замечают.

Некрофил поднимает валявшийся в пыли черепаший остов.

Обращается к Биофилу.

Некрофил

Что это?

Биофил

Черепаха вроде.

Некрофил

Ошибаешься. Наступи.

(Биофил, заинтересованный, сползает с камня, высмаркивает табак, вытирает пальцы о штаны, засучивает рукава и принимается топтать пустой панцирь, приговаривая при этом:

Ну, сильнее. Еще раз!

(Он подпрыгивает, обрушиваясь всей тяжестью.)

Биофил

(отдуваясь). Не давится, падла!

(Отсмаркивает остатки.)

Некрофил

Теперь что скажешь? Черепаха?

(Биофил пожимает плечами. Глядит на муравья, тот уже вырос в кошку.)

Некрофил

Не черепаха это, а муравей

Биофил

(неуверенно). Пошел бы ты!..

Некрофил

То мудрый муравей, который понял
закон природы — стал сопротивляться
давлениям извне, оброс броней.

Взгляни, а это кто летит над
нами,

кренясь на левое крыло?

Биофил

(задрав голову). Ворона.

Некрофил

(грустно). Нет, это муравей
в иной трактовке.

Мир полон форм, этапов муравьиной
эволюции.

Он рос в противовес врагам,

приобретая формы,

он поклонялся всем богам,

выдерживал реформы,

учился плавать и летать

под синим небом,

выть на луну, шипеть,

кем только не был!..

Скажи — кто ты?

Биофил

Я Биофил, сам знаешь. Кончай

прикидываться,

жить люблю.

Некрофил

Ты — муравей. Ты результат процесса.

Биофил

Это ты брось. Такое не пришьешь.
Всяк знает, — я от обезьяны, понял?
Мне гнуса в родственники не хватало!
Еще собаку!
Держи меня, я дам тебе с размаху.
Сначала правой, а потом другой,
молись, чтоб двинул левою ногой,
а правая, известно всем, смертельная.
Задень еще мою родню, попробуй,
как развернись, и враз —
в дерьме по брови.-
Какого-то жука вонючего хороним,
а разговоров —
будто это слон.

Некрофил

(резко). А если б он слоном назвался!

Биофил

Тогда бы я на нем катался,
понял?

Некрофил

(задумчиво). Слова, слова...
Есть правда, но едина.
Одна и неделима на двоих.

Некрофил

(в кулису)
Слова, слова... А я нашел ответ.
Вас напугала эта смерть.
А меня — нет.
Скажите, что это — «причинность
слова?»»

И почему наш муравей не «СЛОН»?
О, «слон»! Воздушное какое
сочетанье,
ни рева в нем, ни рыканья, лишь стон,
лен голубой на ледяном погосте.
«Слон» — тает лед и умирает лен,
а мур-р-авей», в траве ломая кости,
хрустит под пяткой Биофила он.

Биофил

Эй ты!

Некрофил

Он сокрушен не Биофилом,
а именем своим он сокрушен.
Назвать бы словом «му-р-равей»
хотя бы льва,
урчащего, рычащего и хищного,
а насекомому пошло бы имя Лев,
короткое волнующее слово.
Оно — пух лебедя,
лепет легкого лепестка
и мягкость хлеба белого.

Биофил

(встревая). А «хлев»? Гляди, он
превращается в собаку.

Некрофил

Причинность слова? Знак.
Уничтожайте форму содержания.
Вы знаете, за что не любят змей?
Нас напугала жалом ядовитым
гадюка.
Всех, на нее похожих видом,
мы убиваем.

Все полосатое уничтожаем
полностью,
червей, питонов, и черту,
и полозов.
Выламываем полоз у саней,
паласы рвем, искореняем волосы,
казним и полосы,
казним названия —
ужей, ежей, ершей!..

Биофил

Вшей не забудь.

Некрофил

Потом приходим к шее.
Все это шло под нож,
под ноготь и под ноги!
Сгибаются прямые, прячут лица,
нулем от страха стала единица,
согнулась так она, чтобы вершина
с униженным концом соединиться
могла бы.
Лишь палач не прячет свой палаш,
и палица в руке его не гнется,
и палец, указующий, смеется,
в знак тыча и в название.

Биофил

А кто палач-то?

Некрофил

Мы с вами!

Биофил

А что такое лексемы?

Некрофил

Все мы! Мы все палачи!
Взбесился мир, хоть плачь!
Соломину влача, он знал — устанет.

Биофил

(соглашаясь). Кто много знает,
тот недолго тянет.
А может, он с соломинкой тащился
тянуть коктейли и, видать, упился.
А может, хворостинку пер, чтобы
грохнуть
жука какого-нибудь, скарабея.
А мы скорбим над таким злодеем,
над алкоголиком.
Да как мы смеем!..

Некрофил

Она была длинна, как его имя,
и тяжела, как знак конца,
как минус.
Тот минус на себя, как на Голгофу.

Биофил

(передразнивая). «Как», «Как». Закакал!..

Некрофил

Перечеркнул соломинкой, как зверя,
себя, узнав, что полоса — безверье.
Как хорошо распятым быть
на плюсе!
Вот символ веры!

Биофил

(утираясь). Не плюйся.

Некрофил

Какая ложь быть на кресте распятым!
Расчетверенным на кресте —
пожалуй!

А на черте нельзя расчетверить,
да и распять, наверно, невозможно.
Уединиться — может, в этом смысл?
Черта есть Антикрест,
черта есть символ чёрта!
Змея — антихрист,— это же черта!
Бог Волос — полоса,
и палица, и палец,
и фаллос — антикрест.

Биофил

Не понял ни черта!
«Расчетверить»! «Уединить»!
«Распять»!
Об этом ты мне говорил раз пять,
а то и больше.
Вчера мы раздавили человека.
Ты вытянул его кишки в линейку,
шагами его внутренности мерял,
с полкилометра шел,
и все не верил,
и шебутил: «Прямая — символ веры».
Ух эти мне эволюционеры!..
Чего ты хочешь? Отдохнул, пошли.
Твой муравей растёт, уже почти что
мерин.

Некрофил

Не отвлекайся, Биофил, чихай.

Биофил

Чихнул бы на тебя, зла не хватает!..

Некрофил

Воистину ты проявляешь волю.
С настроя сбил. Дай закурить,
неверный.

Биофил

*(растягивает узел кисета. Насыпает на бумажку,
протягивает Некрофилу.)*

Ты прямо укажи—чего ты хочешь!

Некрофил

(лизнул бумажку, сворачивая сигарку).

Хочу я, чтобы ты избрал черту,
чтоб черт был положительным героем
в трагедии вселенной,
я молюсь,—

чтобы любые формы сохранялись,
чтобы слова по знаку растекались,
чтоб соответствовало слово знаку.

Вот Эйфелева башня назовется

пусть именем,

примерно в километр,

а муравей пусть назовется самым

коротким звуком — Я,

последним словом.

*Некрофил прижег сигарку, затянулся, прищурил
глаз.*

И вдруг — чихнул. Раз пять! Биофил остолбенел.

А муравей все рос.

IV

*Опять прошла на заднем плане женщина в
черном. Биофил не замечает—завороженно
сворачивает козью ножку. Женщина прошла
еще, почти коснулась платьем. Биофил*

отвлекся. Смотрит вслед, ища спичку.

Биофил

Цыганка, что ли?

Дрожит в ладонях огонь. Он затянулся, ждет, не выпуская дыма. Разочарованно выдохнул длинную струю. Он уже ни во что не верит. Кому суждено, тот чихнет.)

Разреши мне правду сказать
неприкрытую, грубую.

Баба там за камнями шастает.

Может, тронем?

Один ответ.

Ох, мать!.. Чихнуть бы. Все б
на место
стало...

Некрофил

Диалог — это два монолога.

Я свое отсказал, искупился,
я понял его.

Теперь твоя очередь, Биофил!
(Биофил следит за женщиной.)

Биофил

(не отвлекаясь). - .

Я не умен.

Вот если побелить потолок
или взять молоток,
а то — монолог!..

Некрофил

Я говорю, он — действует; ну что же,
какую-то ведь роль играть он должен.
Но муравей от действий не растет,
молчанье останавливает рост.

Придется мне поговорить за Био.
Ты разрешишь?

Биофил

Валяй...

(Биофил привстает и крадучись уходит в развалины.)

Некрофил

(грустно усмехается). Он согласен.

Великое молчание веков

кристаллизуется в святые прописи,

мгновенья остаются от эпох,

сегодня — дьявол,

завтра скажут — бог.

Нам времени не жаль,

мы не торопимся.

Кричим мы раньше,

чем нас могут слышать,

змея яблоко ронял и говорил:

«Как тянет нас к себе Земля,

аж ноги гнутся!»

А что в ответ услышал?

«Обойдется. Пойди и вылечись

у костоправа».

Змея первым понял, что Земля —

вкруг солнца.

Никто не возразил.

А он был первым,

но не было врагов, как у Коперника.

Мои враги грубы, мне бы потоньше

богов, умеющих казнить, но и ценить.

Таких, каким тебе был я,

антихрист!

Порою человек зло совершит,

казнится он, пока не разумеет,

что это есть добро, только расхожее
со старым представленьем о добре.
И тьма сияет ярче солнца.
Пока другой не совершает зло,
еще добрее прежнего. Не знаю,
что грех, что благо.
Муравей, прости.
Мы наступили на тебя, антихрист,
но сколько добрых чувств мы
испытали!
И сколько мыслей ум разволновали...
Теперь я стих великий сочиню!
С твоих высот трагедия спустилась,
она вошла в огромный зал со сцены,
она вошла в леса,
прошла пустыни,
столицы, села, областные центры.
Она, как подать с душ,
с дымов налог.
Словам моим залогом,
страхи эти,
поэзия моя, — ты монолог
разыгранной на всей земле
трагедии.
Нет зрителей в спектакле этом
долгом,
мы все участники,
не зная толком,
откуда луч протяжный. Что горит?
Единственно спасенье — говорить.
...А если б муравья мы не убили,
что было бы с поэзией моей,
подумать страшно!..

*(Он закрывает лицо руками и надолго умолкает.
Руки. Руки. Руки.)*

Баба, делая странные пассы руками, пытается избежать растопыренных рук Биофила.)

Биофил.

Арабочка! Индейка! Синекдоха!

Давай не будем.

Говорю тебе, образованный я, стихи пишу.

Новый в местах этих. Приезжий!!!

Ночлега ищу. Позови в гости.

Нет ли у тебя башни из слоновой кости!

Некрофил

(отрывает ладони). Уйду!

Я ни при чем. Я только говорил.

Пусть Биофил останется, подонок.

Он уговаривает даму в черном,
не зная, что она не дама вовсе.

Смерть Муравья она.

Пришла с небес за духом муравьиным.

Он вырос потому, что мы мешали ей
забрать его в небесную духовку.

Он больше смерти стал,
бессмертен он,

дух от него такой,
как от пожара.

(Обращается к Труп):

Ты не вини его, о Муравей,

он — Биофил,

и со своей бы смертью

так поступил бы,

в страсти до бровей,

в соломинку свою,

герои, верьте!

Все беды от того, что мы сильны,

и чувства наши топчут

страх основы.
Да как мы смели!..
Не признав вины,
влюбиться в смерть
и наслаждаться снова.

*Муравей к этому времени подрос еще немного.
Он лежит, как громадный слон, растопылив
лапы.*

*Некрофил рядом с ним на камешке —
ничтожество.*

Лапы шевельнулись, дрогнул ус.

Некрофил

Но помешать ему я не могу.
Он действует, я должен говорить,
иначе кактус переплюнет маков,
а мир, как принято, неодинаков.
Ужасные последствия, и все же
согласен я. Зачах бы мой талант,
о чем бы я писал стихотворенья?
Пусть рухнут небеса,
останутся паренья
трагедии. Пусть обнажатся символы.
Мы кланялись, изображая месяц,
кресту уподоблялись, распинались,
отныне — не кресту и не дуге,
прямой Соломине нам поклоняться.
Отныне нет в стихах моих вопросов,
есть восклицания,
стрела — тире.
Без кроны, без корней —
стволы деревьев.
Двуногие мои остолбенеют,
все станут Соломонами:
стереть

с лица земли изломы гор,
степь плоская — вот идеал вселенной,
чтобы ничто Его не заслоняло,
над линией степи,
чтоб возвышался
лишь Муравей.
Я верю только в Минус.
Настало время поклоняться Меньшим.

*Биофил, выходит из-за стены, отряхнулся.
Достает кисет почти пустой. За ним —
растрепанная Смерть Муравья.*

Биофил

Холодна. Как свинья!

Он отправляет последнюю понюшку в ноздри, в рот, оттянув веко, сыплет в глаза, в ухо. В другое ухо не хватило. Отшвыривает пустой кисет.

Некрофил

Кто?

И ты сказал у Трупа Муравья,
она — свинья?

(Он кричит, поглядывая на Т р у п.)

Биофил

Ну, не свинья, по правде говоря,
но так себе.

Некрофил

Да ты!.. Да я не знаю,
что сказать!.. Я высказался весь.
Я только говорил. Я ничего не делал.

(И Некрофил рухнул на колени).

Биофил

(ей): Да брось ты дурочку ломать.
Сказал — женюсь и точка!
Я человек сурьезный. Обещал —
сполню.
Дай чихнуть человеку.

*Так и остался с выпученными глазами, медленно
осел на колени.*

*Увидел: гигантский Муравей стоял на всех лапах
и шевелил усами.*

VI

Биофил

Увы, мне господи Соломон-Антихрист! И остах аз
един! Избави мя, господи, и предам ся яко Иерусалим в
наказании Навуходоносору, царю Вавилонскому. И
поклонюся прямой Соломине твоей, вот те черта! Виждь
ныне скорбь и беду мою и помози мне, буди нам
истинный судиа и суди в правду меж мене и миром
человеческим и обличи вину коегождо нас. И помилуй и
спаси, яко муравьелюбец. Оле, Соломине царю,
терпения твоего.

Черницу, аки простыя девица, за себя поимаше,
насильствующе,

блудное дело творяще пред очима Муравьиныма.
Несть беззакония моего исчести можно!..

О солнце, как не померкнеши сияти не преста!

О как луна в крови не преложися и землю как
стерпе таковая и не пожре мене живома!

Велик бо плач, и скорбь, и беда, и стенание от мене
поганого!

В Муравейную веру, имени твоего ради, во царствие свое прими мя, благослови мя и черницу нареченну на брак святой!.. Осени, бессмертный!

Муравей поднял бревно соломенное. Биофил припал лбом к земле. Некрофил лежал, крестом раскинув руки. Пострадавшая одной ладонью закрывала грудь, другой пыталась спасти от взоров зала дрожание бедра.

Биофил видел, как у самого носа бежали по земле мураши маленькие. Один из них остановился вдруг. Биофил в этот момент вдохнул и, о горе! Мураш влетел в правую ноздрю. Задвигал щекотно лапками, перебрался по какому-то каналу в левую ноздрю. Уж он ему в носу поскреб!..

Биофил

Не надоть! Не на!.. Не на!.. Не на — пчи! Р-р-чхи! С-е-чхи! Т-чхи! У-у-чхи!

Голова его бессильно моталась. Он чихал не, переставая. Туча взвилась.

Потерялись в ней очертания Бессмертного Мураша, его оплодотворенной Смерти, распластанная крестом фигура Некрофила. Сверкнула молния в туче пыли.

До последнего держался Био. Он стоял руки по швам, прямой, как Соломина, и чихал.

Чихал на все.

Конец

Примечание. Так сотворен был новый бог Антихрист. Убийство—зло, ибо оно порождает веру. Унижая — возвышаем.

Не хватайтесь за соломинку.

ЭПИЛОГ

Биофил молился Соломине, пока не привык, а привычка — это уже неверье. И серые и черные мураши перестали действовать на его чихательный аппарат.

Некрофил уже не отдыхал. Создав черту (единицу), он боролся с ней сначала традиционными средствами: крестом (двойкой), дугой (пятеркой), затем комбинированным знаком — Крест и Дуга (2-|-5), наконец освоил новую форму — квадрат (четверку), постепенно в скорописи превратив его в круг. Вершиной его эволюционерства стала Восьмерка (удвоенный круг). Биофил всякий раз (при очередной смене идола) протестовал, издевался, давил, крушил, чихал и — молился; В конце жизни с облегчением понял: единственно кому и чему он не верил,— это Некрофилу, гнилому интеллигенту.

* * *

Природа и древность несут нам знаки, которые в нашем прочтении превращаются или в метафоры или в загадки. И от того, насколько человечество подготовлено к восприятию этих немых сигналов — гор, неба, деревьев, буйволов, коз,— зависит биологическая и духовная жизнь на земле.

Человек—тоже иероглиф. Мы всякий раз заблуждались, когда нам казалось, будто мы прочли его. Много миллионов лет человек был смиренным рабом природы, поклоняясь всему, что постичь он был не в силах. С первой геометрической фигуры, которую он начертил на песке, начался великий бунт человека.

Сегодня человек достиг небывалого, он может посмотреть на себя, землянина, с другого космического тела — и не увидеть себя.

Механизмы познания человека не совершенствуются у нас, сегодняшних, они такие же, что были в Шумера или в Мохенджодаро. Я не имею в виду скальпель или

электронный микроскоп. Мы немало узнали, теперь нам предстоит познать нас. Поэзией.

Знаки естества могут заговорить, если их недоверчиво слушать.

Результатами толкования знаков стали знания и вера. Соперничеством и взаимодействием этих двух категорий определилась история человечества. И если бы меня спросили, что важнее и прогрессивнее из двух слагаемых моего духа, я не решился бы на категорический ответ. Я верю знанию и чту веру.

Мне интересно проследить процесс рождения мифа по схеме: предмет, символ и толкование. Предмет, облеченный мыслью, есть символ. Овеществленная мысль есть предмет. Фетишизация символа рождает культуру. Овеществление символа — цивилизацию.

Эта схема легче всего прослеживается в тех культурах, развитие которых не прерывалось в исторически обозримое время. Соприкоснувшись, например, с Индией, вы поражаетесь долговечности символики и утонченности, которую она приобретает с развитием человеческой мысли.

Я могу духовно ощутить себя современником создателей древнейших знаков, но я физически живу в XX веке и понимаю, к чему способна привести нас и фетишизация Вещи и фетишизация Духа. От богатых предков нам досталась категоричность и размашистость обещаний.

Недавно я говорил с одним начинающим ученым.

— Много бы я дал, чтобы узнать смысл этого знака!

— воскликнул он.

— Что бы ты дал?

Он сбился с тона и, стараясь сохранить горячность, ответил, как мне показалось, неуверенно:

— Полцарства.

КАКТУС

(размышление классика Амана на тему «Быть и казаться»)

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ

Я по паспорту — Аман-хан.

Хан — это титул, который когда-то принадлежал моему предку. На другой, язык, имя мое может переводиться так: князь Аман, или граф Аман.

В наше время титулов стесняются, поэтому друзья меня зовут просто — Аман или Аманчик в исключительных случаях.

Единственно, кому я не позволю сокращать мое имя, — безродному Жаппасу.

Пусть всегда чувствует дистанцию между нами.

Все чаще меня посещают думы. Личный опыт требует обобщения. Что я оставляю своим продолжателям? Монографию «Стихи не нужны» или тома вдохновенных стихов?

Каждый большой поэт мечтал, чтоб его забыли.

Поясню.

Поэт велик своей темой.

Проходят века, а тема его актуальна, и стихи звучат по-прежнему гневно и печально. Умрет тема, умрут стихи. Но жив Абай, разоблачавший тупость и чванство 19 века. (Это — Жаппас). Жив Салтыков-Щедрин, ибо живы, прототипы его героев. (Это — Жаппас).

Станут люди умнее, добрее, счастливей и создадут, своих умных, добрых и счастливых поэтов.

Забудьте и меня.

Но прежде забудьте Жаппаса.

Я и после поражения врагов своих останусь в пожелтевших страницах грустным и строгим, как сегодня.

Я был на площади им. Пушкина. Видел его статую.

И подумал.

Пушкин не знает,
что сняли царя Николая,
так и стоит понуро
на площади этой.

Враг давно повержен, но победитель до сих пор
угрюм и задумчив.

* * *

Я не могу вспомнить, что я обокрал, оскорбил или
плюнул вслед. Единственная подлая черта в человеке
(таком, как я) — он не может защитить себя.

Меня обкрадывали, оскорбляли, плевали вслед.

Кто? Я не помню всех.

Помню Жаппаса.

Неприятности острее радости. Счастье — это хвост
метеора; след горя — борозда по лицу. Удача не
оставляет морщин, и потому память о ней легка.

Века мира мы не помним, зато — мгновения войн!

Помню Жаппаса.

В биографии человека есть талантливые события,
интересные всем, есть посредственные, памятные
только участнику или жертве. Но все они выставлены в
одном зале памяти, ибо они разно наделены правом
представлять время.

Бездарное лучше сохраняется — оно грубее.

Не все долговечное — гениально.

Вечен Жаппас.

.....
.....

УПР. 1. КАК ДЕЛАТЬ (писать, строить) СТИХИ Эскиз будущей монографии

I

Лучшие творения народной поэзии созданы в эпоху неолита^[27]. Их отличают полнота и подробность.

Наше творчество означает собой частичный возврат к формам неолитической литературы, к их архитектуре: чередование стиха (ак соз) и прозы (кара соз).

К нашему направлению более всего подходит термин НЕО. ЛИТ^[28]. В нем благородно сочетается модерн и уважение к традиции.

Общие положения.

Если стих — всего лишь личная реакция на какое-то действие, неизвестное читателю, то стих недействителен.

Стих не должен быть произведением^[29] и только произведением. Читатель хочет знать весь процесс умножения слов.

Мне лично не интересен результат (4) без подробного описания действия (2*2 или 2*3).

Стих рождается из обстоятельств, которые сказываются сокрытыми от читателя. Зададим себе вопрос: может быть, обстоятельства эти читателю нашему интересней произведения?

Уже невозможно сохранить умирающий от чрезмерного умственного развития жанр стихами, подобными формулам:

Стихи Жаппаса=5

Почему 5, когда их структура «дважды две», или чаще «одиожды один», или вовсе «нуль»?

Метод неолита (новой литературы) заключается в следующем:

а) неолит ищет в каждом дурном явлении позитивное начало и на нем основывается. В каждой

собаке — человека. Ибо история и истина не одно и то же. Начала — вместе, окончания — врозь;

б) анализ слова и факта. Пласты значений. Например: известно, что трое незнакомцев (по виду — строители) помочились на угол дачи писателя Жаппаса. Как развернуть это событие в поэму?

Извлекаем костяк: строители и писатель.

В первом звукосочетании ударение на «и». Следовательно, напрашивается основа «строить» — выпить на троих. Противоречит ли это толкование факту? Вряд ли, т. к. очевидно, что трое незнакомцев были выпивши.

Итак, возникает важная фраза: «Строители строили». Это уже уверенный штрих будущей картины.

Антагонизирующее слово п и с а т е л ь связано с предыдущим не случайно. Надо ли доказывать, что в данном случае уместнее применить древнеславянское ударение на «и», чтобы сблизить противоположные формы.

Послушайте, как торжественно звучит «и»: «Строители и писатель»! И как развернулись семантические рамки! Событие ясно, оно уже поется. Воздвигаются образы, встают детали, возникает прошлое, несостоящее, и будущее факта. Звучит размеренно ритм шагов. Чьи это шаги? Сейчас узнаем. Я вижу:

... идут по переулку прохожие.
Один из них знаком —
Саид Байхожин.
Взрывается напористой улыбкой,
лоснится рожей пористой,
как губка,
он впитывает взгляды, набухает.
Вот истина тревожная — бухарик.
Не потому, что гнал газопровод

из Бухары,
а потому, что пьет
и будет пить, пока не опьянеет.-
Иначе истязаться не умеет.
История: закончили туннель,
пробили в скальном грунте
метров триста,
Саид Байхожин гнал под взрывы МАЗ,
чтоб выручить какого-то туриста.
И выручил, загородил.
И вас
историк перебьет,
он скажет: «Спас!»
Спасали жизнь, взыскания имели,
но жить они иначе не умели.
И мне, наверное, простят грехи
за то, что я о них писал стихи.
За то, что лгал, бывало, но не врал.
Спасался тем, что истину взрывал.
Невежда тот, кто в прошлое не вник,
кто в будущее не смотрел — велик.
Поэзия — это всегда поступок,
она, как варварство,
всегда в изломах,
подобно
лестнице
вся из уступок,
уступок необдуманному слову.
Мы унижаем факт
до акта слова,
в простом событии у стены Жаппаса
мы видим смесь торжественности,
злости,
соединенье страсти и опасности.
Но как, создатель, это описать!..
Величье проявления обиды.

Они имеют право притязать
на выявление собственного вида?
Что главное в Саиде? Неизбежность
его поступков.
Значит — необдуманность,
кто мыслит о последствиях — не смел,
быть и казаться — общий наш удел.
Каким ты был, таким ты и казался,
поэт Жаппас,
поэт Аман — сложнее.
Он жил в искусстве.
Ты — лишь прикасался
его гранита завистью своей.
Будь, истина! — историю придумаю,
благодарю, Жаппас, за прямоту мою,
писал — не знал, что именно получится,
иначе б я, клянусь,
не стал бы мучиться.

Упр. 2. ПОЕДИНОК

Записал и принес эти стихи в журнал, где
редакторствует пресловутый Жаппас.

Он поглядел и пробурчал нечто вроде того, что
стихотворение ему знакомо.

На меня это известие подействовало сильно.

— Было,— сказал он, не разжимая век,— Было.

Я подумал сначала, что он шутит. Его знаменитый
стих «Я — бывший батрак» прочно утвердил за ним
репутацию юмориста.

Мне вспомнилось, как я стоял перед зданием какой-
то мыловаренной фабрики и думал. О чем я думал? Ни о
чем. Просто стоял и думал. Численность этажей меня не
интересовала. Достаточно, что много. Стеклянная
плита, поставленная на торец. Интересно, когда нас
потрясает факт, реакция бывает самой примитивной.

Он отражается в нас, как в разволнованном зеркале: или слишком толстым, как Жаппас, или неправдоподобно стройным, как я. Событие охватывает сердце, и ему надо вырваться из-под гнета, чтобы охватить событие целиком, чтобы заметить в нем кроме тяжести волнения волшебный вес красок.

Я впитывал солнце и не знал, сколько ультрафиолетовых лучей падает на см² моей кожи в секунду. Я понимаю людей, у которых много вопросов, но я не понимаю людей, у которых на любой вопрос готов обстоятельный, толковый ответ. Я боюсь таких людей, они безжалостны. Они уже все решили, все по-своему знают. Они не волнуются, у них не бывает падения мысли, не бывает счастья находок предпоследнего варианта решения. Время рождает новые вопросы. Мы хотим узнать корни противоречий. Домыслить то, что открыто в учебниках, и эти открытия каждый должен открыть еще и еще раз для себя.

Тогда этот закон станет и личной верой.

— Было,— повторил он.— Все было.

Жаппас любое слово произносит мудро и значительно. Гнет собственной абсолютности он распространяет на окружающих, и, они становятся гордыми и надменными по отношению к нему и столь же категоричными.

— Не было! Где было?— воскликнул и спросил я.

— Ничто не ново под луной,— не моргнув, промямлил он. Спокойно и вдохновенно выразил мысль, уже утвержденную семьюдесятью поколениями писателей, среди которых только первый был прав. Жаппаса некоторые критики называют Гомером^[30] XX века. Он из тех людей, которые ни того, ни другого Гомера не читали и не будут. Он глуп только на первый взгляд. И на второй. Впрочем, и на третий. Но в историю он войдет. Как убийца. Он глядел в щелки вверх

головы моей, словно считал до миллиона, чтобы не уснуть вечным сном. Я увидел покадрово:

крупный план: его жирное лицо.

Отъезд до среднего: брюхо.

Общий: все еще — БРЮХО.

Двойной экспозицией: ведро воды, опрокинутое над костром. Крупно: борьба огня и влаги. Яростный пар. Черные угли. Средний: я влетел в седло и понесся по склону до общего. С противного холма с копьем наперевес идет на сближение Брюхо. Голоса за кадром. Вступает тревожная музыка.

Он (яростно):

Помолись своим кумирам,
мы не покончим дела миром,
делать нечего в этом мира
двум батырам,
двум эмирам.

Я (спокойно и сильно):

И сражаются испокон
рог на рог
и конь на конь.
Пусть
вступают в единоборство
твоя жестокость,
мое упорство.
Твоя безмерность
и моя мера,
твое язычество,
моя вера.
Твой лед холодный
и мой огонь,
как рог на рог
и конь на конь.

(Крупно детали: выражения глаз — страх затаенный и спокойствие трагическое. Острия копий, оскал коней).

Я (вдохновенно):

Помолись своим кумирам,
ты выйди с мечом,
я вышел с лирой,
мы не покончим дело миром,
делать нечего в этом мире
двум батырам,
двум эмирам.
(Аплодисменты).

(Две тонкие пики сблизились, спарились, как две струны домбры, вонзились в два жилета. Взвилась мелодия, сшиблись две темы).

Вместе (дуэт):

Ты слышишь, друг,
звенит струна?
О чем поет тебе она?
Ты мне расскажешь,
что в этом зов,
после боя,
после боя...
Крупно: я.
Обще: ОН.

— Не было,— сказал наконец Жаппас.

— Что не было? — не торжествуя спросил я.

Добивать так добивать. На войне героем станет тот, кто победит страх, здесь герой тот, кто пересилит отвращение к поверженному Жаппасу. Я пересилил, хотя это было нелегко. Хорошо творить подвиг на виду

у всех, когда за тобой следят телекамеры и каждый шаг твой сопровождается то общим вздохом, то бурными рукоплесканиями. А когда ты один на один с Жаппасом в его непроветриваемом кабинете с грязной ватой между рамами, твоего мужества никто не оценит, но я знаю, на что иду. Я вел бои за Саида.

(Архитектурный гений наших предков выражал себя в создании могильников, вся степь уставлена мазарами, повторяющими очертания уничтоженных в набегах крепостей и храмов. На степных кладбищах вы можете найти глиняные и каменные модели византийских соборов и сирийских дворцов. В этих мазарах хоронили богатырей. Поэты в то время строили свои воздушные города. «Дворцы воздушные мои прочней твоих могил».

Когда небесные светила изменили ход и отвернулись от кипчаков, последние, не найдя надежных крепостей на своей земле, бросились под защиту мифических стен эпоса. Души их укрылись в моих воздушных замках. Тела их я вышвырнул за ворота. Они не вмещались. Для них строит убежища Саид Байхожин, профессиональный строитель, кипчак из СМУ-22. О нем моя песня.)

— Так было или не было, рожай, Жаппас!— я уже откровенно издевался.

— Не было и не будет. Твоих вещей. В моем журнале!!! Трудно, невозможно постичь Жаппаса. У меня нет ни времени, ни сил, чтобы проделать эту огромную работу, которая потребовала бы от исследователя кроме знаний всяческого рода еще и изрядного запаса меланхоличности.

А я — холерик!

Долой блистательные околичности! Метафоры, уводящие от сути, как куропатки от гнезд своих уводят свирепого ястреба!

Мой ум рвался к более свежим проблемам.

Мы с криком пришли в этот мир!

Я потребовал маков у зимы, идеалист!
Жаппас, а ты видел грозу в январе?!
Когда в снежном небе шипя метались отчаянные
молнии и бил дымящийся ливень в угрюмую
безжизненность снегов.
Шесть рублей!..
При каждой встрече он напоминает про долг.
Не удержать меня!..
Жаппас бездарен, как Бетпак-Дала осенью. Где он
наел такое брюхо? В хлебном магазине его пропускают
без очереди. Читатели, заметив Жаппаса, говорят
задумчиво:
«В нем что-то есть...»

А ты подумал, жирши^[31] Жаппас,
что песня — жир^[32],
соловей — булбул^[33]?
Все чаще жирных поэтов у нас
народ-реалист называет
пул-пул^[34].
И вот Аллан пришел вершить намаз,
в слезах, в чалме распушенной
и с грубостью,
что жизнь поэта —
ярче, чем алмаз,
и дорога своей алмазной хрупкостью.
Аман из тех, кто понимает стыд,
мой стих, как штык,
и нет стиху святым.
Жизнь сокращают мне;
но не стихи,
в сердца они уходят,
как штыки.
Я помню долг другой,

великий долг!.. [\[35\]](#)

...Наука — вещь серьезная. Могут ли цифры и формулы быть поэзией? Что такое нуль с точки зрения научной? Ничто. А поэзия говорит— нечто. Это конечная цель определенного этапа развития.

К форме нуль стремится все — скалы обтачиваются временем в валуны, угловатая космическая глыба стала земным шаром. Слова круглеют, и ракета в разрезе круглая — так легче взлететь, и бомба — так легче падать, И тело круглеет, и головы круглые, и рты в крике, и глаза вытаращены. Впрочем, что его описывать: нуль —это нуль. Пустота пустот.

Вот все, что я хотел сказать о круглом поэте Жаппасе!.. [\[36\]](#)

Упр. 3. ЗНАК АМАЗОНОК

(Как возродить любовную лирику)

Меня часто спрашивают поклонники: «О чем пишешь, дорогой Аман?» Я отвечаю несложно: «О чем пишется». Каждое утро ставлю себе определенную задачу.

Вот и сегодня, накануне 8 марта, я обязан подумать на тему: «Чадра или не чадра?» Эксперимент с эмансипацией затянулся. Результаты уже не пугают. Мы привыкли. Равнодушие — друг любви.

I

В комнате — солнце,
конфеты из сои.
Собака глядит на конфету,
скучает,
глажу ей спину ногой босой,
листаю газеты за чашкой чаю,
Снова — акции и падения,

в странах Азии перевороты,
нет ни в одной министерств
нападения,
множество — министерств обороны...
Откуда же войны, простите, берутся?!
Дерутся гегели и конфуции,
полосы гордости,
строчки конфуза,
ребусы глобуса и кроссворды,
о свадьбах ни слова —
разводы, разводы...

II

Я сложность духа меряю простыми
реалиями:
мельницами — ветер,
свет — киловаттом,
тяжесть — мегатонной.
Ай, строфы цифр, эпосы речей!
До сердца допустили мы врачей,
узнали анатомию мадонны.
Эпоха бесподобных лесорубов,
ткачих всеправых,
и зачем вам Рубенс,
когда полотна гениальней красок!
Идеализма где-нибудь украсть бы.

III

Сто тонн на каждого из нас приходится. "
Сто тонн тротила. Может, опечатка?
Сто тонн «наполеонов», не взрывчатки,
тортов?
Хотя и это пригодится...
Придет в субботу дядя-спекулянт.
«Чего продать? На барахолку еду».
«Почем тротил?» — спрошу.

Он вынет преysкурant,
«Такого барахла
тут,— скажет,— нету».
А я ему: «Есть девяносто тонн».
(Десяток тонн на черный день оставлю).
«Хоть по рублевке!»
Обалдеет он:
«Да что ты!.. Я тебе по трешке ставлю!»
Газет он не читает, глупый он.
У самого (не знает) —
сотня тонн.

IV

Та, которая коллекционирует кактусы, вчера говорила, трепетно поглаживая себя по бокам:

— Почему это у мужчин, когда они на меня смотрят, жадные тигриные глаза?

У самой при этом были рысьи. Ее сослуживица, унылый реликт феодально-байской эпохи, неуважительно ухмыльнулась. Рысь переключилась:

— Почему ты за собой не следишь, Гюль? Ты так неряшливо одета, платье длинное, какие-то браслеты, монисты!.. Муж тебя оставит, если ты...

— Не бросит! — не отрываясь от грассбуха.— Он за меня три тыщи уплатил. Новыми.

И щелкнула счетами.

Веселая Рысь превратилась в ничейную кошку. Редко можно наблюдать такое непосредственное действие слова.

Я человек современный, прогрессивный, можно сказать.

Я бы не посмотрел ни на какие тыщи. Оставил бы — и все. Но заметьте, сколько гордости в этом униженном, казалось бы, откровении.

А Рыси, подумал невольно я, суждено быть женой бесплатной. Что может быть унижительней этого? «Моя дорогая», «моя бесценная».

Не ощущаю материальности слова. Эти эпитеты достались нам от времен, когда поэзия была подкреплена калымом. «Сопровствляйся, Аман,— говорил я себе.— Не верь тому, что слишком очевидно!»

Борьба продолжалась с переменным успехом.

Невольно вспомним, как Зулейха покупала на рынке смазливово раба Юсупа.

— По весу юноши,— купец промолвил тут,—
не гири на весы, а золото кладут.
Сокровищ всех Юсуп был тяжелей.

Странно, что в мировой поэзии не сохранилось описания покупки жены. Но намеки на то, что женская красота стоила денег, сохранились. Поэты восполняли недостаток валюты драгоценными стихами, в которых сияли «алмазы слез», «жемчуги зубов», «бровей золотые серпы».

Подобна яхонту краса твоих ланит,
как нежный перламутр ногтей отлив,
глаза как изумруды,—

И т. д.

Так Зулейха описывала Юсупа.

...Веселой Рыси недавно прислал тайное письмо чреватый поэт наш Жаппас. Он писал ей так (с несвойственным ему темпераментом):

О редкой красоты кристалл,
любовь моя, душа Джамал!

О серебро мое, мой друг,
плагиоклаз души моей,
скажи мне: будешь ли моей?
Скажи скорей, молю, скорей!

Моллюск пузатый завершал послание строфой,
направленной против меня.

Я дам тебе благой совет:
не обещень себя, мой свет!
В невежде-муже проку нет,
зря только век загубишь свой.

Эта строфа, лучшая в касыде, не принадлежит его перу. Он бесстыдно выписал ее из моего анонимного послания его молодой жене Зумрат по кличке «Трясучка огневая». Я, в свою очередь, заимствовал эти строки из собрания древнего Кандылая. У кого Кандылай украл, мне неизвестно.

Очень хорошо сказал благочестивый Акмулла:

Был склонен к воровству
я в юные года,
за это был гоним,
сгорал я от стыда.

Я искал последовательниц Зулейхи по всему миру. Где-то ведь должны были сохраниться черты матриархате. И нашел их в республике Унди.

В Барассе я достал двадцать первый сорт кактуса. Надменный, весь в прыщах, в горшочке. Мне подарил его барассец Лингва за пять монет. Имя «Лингва» означает на барасском — «царь», а на языке соседнего

губернского города N-ск — «мужской орган. Может быть, поэтому Лингва стоит во главе кампании протеста «N-ск даун!»^[37]. Он за самоопределение Барасса. Официальными языками республики, по его мнению, должен быть барасский или английский (в котором «Лингва» означает безобидное — «язык», «речь»). Или зартаский, в крайнем случае, (где «Лингва» переводится, как «бог»). А по мне бог и царь один хрен. Но мне чем-то нравятся барассцы. А этот — больше всех других. Вегетарианец, весь в заботах о судьбах нации, лысый. О чем бы он ни говорил, — о приближающемся муссоне, о ценах на кактусы,— он кончал каждую фразу традиционным кличем «N-ск даун!» Это не главное в Лингве. Я его оправдываю по-своему.

Есть люди, которые рождены, чтобы жить, не высовываясь за стены прекрасного дворца своего племени. Например, моему дяде — спекулянту Умеру просто противопоказана славяноязычная среда. Умер — по-нашему «Жизнь», вполне приличное имя. С ним бы жить да жить. Телеграммы, которые он аккуратно рассылает по Союзу к праздникам, сеют панику. У него две колодки на все случаи: «Поздравляю праздником твой дядя умер» или «Желаю счастья долгих лет жизни успехов труде ваш родственник умер». И обязательно приписка ошеломленной телефонистки: «Верно — умер». В телеграммах ударение не ставят, прописные буквы не обозначаются, и потому в аэропортах билеты отпускаются по его поздравлениям вне очереди. И притом кассиры смотрят сочувственно. Начальник порта провожает до трапа, поддерживая под локоть.

И еще что объединяет
Умера с Лингвой —
мой дядя тоже любит обобщать
явления истории
и в выводах своих категоричен.

Дядю в детстве лягнула лошадь.
Сейчас ему за сорок.
Он мрачен и неразговорчив.
Уверен, что все зло
от лошадей.
Он ненавидит скакунов
и одров,
ахалтекинцев и карабагиров,
орловских рысаков
и лошадей Пржевальского,
саврасых, пегих, вороных,
гнедых!..
Конь вещего Олега —
его враг,
Пегас и Горбунок
и Сивка-Бурка,
Мирани и Тулпар —
его враги.
О, как он ненавидел ренессанс!
(Он путал это слово с Росинантом.)
Я иногда с ужасом фантазирую:
что было бы, если бы дядя Умер
родился в деспотические времена
ханом в каком-нибудь феодальном государстве.
Первым же фирманом он уничтожил бы
все конское поголовье в своей стране,
а если бы хватило сил,
то и далеко за ее пределами.
Если покопаться в истории древних войн
и в биографиях полководцев,
то можно найти убедительные доказательства
того, что зачинщиков мировых
побоищ
в детстве лягнул еврей,
или карфагенянин,
грек,

негр,
славянин,
китаец,
татарин на базаре,
курд-молочник,
иль дворник-армянин.
История нас учит,—
выбирайте вождями
неушибленных людей.
Хорс даун.

И еще что объединяет (Лингву и Умера): оба они спекулянты, и оба носят чалму по пятницам. (Здесь я вынужден сделать замечание Маяковскому. Он допускает образную неточность, когда описывает польских пограничников в известном стихотворении: «и не повернув головы кочан». Так можно сказать о Лингве или Умере, чалмоносцах, чьи головы действительно похожи на капустные плоды, но ни в коем случае не о польских головах в конфедератках. На этом я стою совершенно железно. Точность образа — закон неолита.) Но чалма не главное в Лингве. Я никогда не забуду, как он, проверяя на свет пятимонетку, достал из портфеля горшочек с кактусом и сказал по-барасски:

Этот кактус расцветает раз в столетье, ночью.
Белым шаром, жирным одноцветьем, сочным,
не уколет губы — несъедобен, мягок.
Покраснеет, если уподобить маку.
Диким ветром в белом поле брошен
кактус.
Расцветает, если тихо спрошен:
«Как ты?»
Что ответит — очень важно
знать обоим.

«Надоело,— скажет,—
рвать штаны ковбоям».
N-ск даун!

Он замолк, но в глазах его опечаленных я читал продолжение!

В зелени травы ярятся маки —
затравили,
бродят в травах белые собаки
баскервилей,
ароматны запахи весеньи,
нет!
Сладко пахнет чье-то невезенье —
след.
Белые иголки, словно просесть,
может быть, и ты когда-то спросишь:
— Как тебе живется, Лингва?
N-ск даун...

Но это не главное в Лингве, Хотелось бы женщинам в их светлый праздник сказать о нем другое.

В Барассе калым платит женщина. Жена купила Лингву, как несравненная Зулейха — прекрасного Юсупа. Он стал ей в 50 тыс. монет. Если бы он не учился в Оксфорде, он бы стоил 20 тысяч; если бы не окончил колледжа в N-ске, то обошелся б несчастной женщине в 10 тыщ. А если бы он был неприкасаемым или отверженным, то вместе со всеми дипломами стоил бы — шиш.

— У нас разводов не бывает. Нет. Она меня не бросит. Нет. N-ск даун! — сказал Лингва, не помню по некому поводу. Я видел его чудесную жену. И обидно стало от сознания, что такая женщина сама платит, и за

кого!.. Есть ли выход из создавшегося положения? Есть. Вот мой проект: уравнять в правах обе стороны. Предлагаю назвать этот процесс АМАНсипацией. Цены на женихов и невест упорядочить, провести законом. Первого апреля каждого года понемногу повышать. И тогда 1 апреля станет международным Днем свадеб. Меньше будет разводов. Газеты отдадут место объявлениям о свадьбах. Они вытеснят нервирующую информацию. Весной — всенародный праздник, ярмарка женихов и невест. Лица мужчин и дам в нейлоновой непрозрачной сетке — чачване. На ней ярлычок с ценой и указанием количества дипломов.

Вспомним, что прекрасный Юсуп и пророк Магомет скрывали красоту свою в волосяной чадре. И когда они сняли чадру, ослепли Зулейха и Айша. Главное — возродить эпос. Вспыхнут свежим огнем бессмертный сюжет — «за нелюбимую выдан я» и равноправный вариант. Газель победит газету.

Поэкспериментировали — хватит, пора возвращаться в пампасы фольклора. Наденем на любимых пояса чести. И когда ты купишь меня, Рысь, ты содрогнешься от моих признаний, моя дорогая, бесценная ты моя!..

VII

Вражда, приветствую тебя, вражда,
когда ты проявляешься поэзией,
сегодня, может быть, как никогда,
мои любовные стихи полезны.

Мы для проклятий не находим слов,
нужны к такому случаю глотанья,
и бормотанья, сбивы, запинанья,
и треск, и скрежет
выбитых зубов.

В окно глядят верблюды —
это горы,

с портрета не Джульетта —
это ты,
на тумбочке забытый том Тагора,
стакан невымытый —
это тоже ты.
Предметы — моя память,
твоя слава,
ковёр, прожженный там,
где ты прожгла,
когда лениво потянулась
лапой
с постели в пепельницу,
не нашла,
так и воткнула в мой ковер...
Ушел бы!
Уйду, оставив в комнате моей
злой аромат духов твоих дешевых.
Другая караулит у дверей.
...Уходят женщины в эпоху Блока,
там им неплохо,
там — позавидовать далеким мамам,
Прекрасным Дамам.
Уходят женщины к озерам дальним,
к забытым станам,
в шатры уходят, чадру накинув,
к другим скандалам.
Уходят женщины, их платья длинные
в крылатых складках
и каждым взглядом
зовут мужчину
сверкнуть булатом.
Мерцают реки в густых ресницах
склоненных ив,
уходят жены, чтобы присниться.
Забудем их.

VIII

Загрохотала дверь. Отпер. Около мешка стоял дядя Умер, дуб кряжистый, с лицом, похожим на кору карагача.

«Суббота»,— вспомнил я. 8 марта. Умер был сегодня э к с п а с с и в н ы й [\[38\]](#). Он держался за поясницу.

— Э, пока поднялся, совсем почки распустились...

— Весна...— посочувствовал я.

Он ощерил нержавеющей жемчуг вставных зубов.

За ним маячила наша почтальонша.

— Подписка кончилась. Продлить надо.

— Поздравляю с женским праздником,— сказал я.— Подпишусь.

— Спасибо,— обрадовалась почтальонша неподдельно.— Вы у меня сегодня первый...

Я — первый. И мир стал приятен. Мне захотелось порывисто обнять дядю Умера, Жаппаса, Лингву. Вы думаете, в этот день только женщины счастливы?

Дядя У мер ничего не читает, и поэтому я могу о нем смело писать всякое: он не знает, что в ядре клетки тела насчитываются несколько десятков хромосом. Две из них определяют пол. У мужчин, в том числе и у Умера, они составляют сочетание ХУ, а у женщин они одинаковы — ХХ. Аллюр два креста. Этим знаком амазонок обозначен век. Я боюсь символов, поэтому верю в них и стараюсь не обижать женщин. Века мужчин прошли. Иду на поклон. Я догнал почтальоншу на улице, втолкнул ей в сумку коробку соевых конфет, вручил кактус в изящном барасском горшочке. И так будет отныне с каждой. Опять — быть и казаться?

Кактус расцветает раз в столетье,
ночью,
белым шаром, жирным, одноцветьем
сочным,
не уколет губы — несъедобен,

мяжок.
Покраснеет, если уподобить
маку,
диким ветром в белом поле брошен
кактус,
расцветает, если тихо спрошен:
«Как ты?»
Что ответит, очень важно знать
обоим...

Ты прав, грек: я мыслю — значит, кое-как
существую.

Ты трижды права, Рысь: я чувствую, значит, живу.
Тебя нет, тебя нет, тебя нет со мной, я чувствую это.
Потому и живу? Даун!

1970-1973

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО АКЫНА СМЕТА

(19 век)

Смет украл красивую молодую жену акына Азербая. Говорят, что до этого между ними была любовь. Их догнали. Азербай должен был решить их судьбу.

Спеленатого арканом Смета сбросили у двери юрты. Он с трудом поднялся на ноги. Ухмыляющийся Алибек в двух местах рванул ножом, и аркан кольцами упал на землю. Смет поглядел вниз на аркан и отшвырнул ногой.

Мокрые от пота кони, всхрапывая, выискивали остатки травы возле юрты.

Смет, потирая затекшие руки, глядел на черный прямоугольник двери. И тихо пел последние слова:

«...Что гляделся в озеро
рябое
от ветров холодных,—
не жалею.
Что не избегал любой работы,
засыпал голодным,—
не жалею.
Что делился с добрым
полной чашей,
а с недобрым —
чаще,
не жалею.
Что утрами умывался сажей,
а ночами — снегом,
не жалею.
Масла мне в дорогу не сбивала

тихая подруга,
не жалею.
Что мечта о друге не сбывалась
долгими ночами,
не жалею.
Не качал я сына на колене,
не ласкал ладонью,
не жалею.
Говорят, что счастье мчит оленем,
не догнать на чалом,
не жалею.
У любой скалы меня встречала
смерть кривым кинжалом,
не жалею.
Об одном я только пожалею,
что судьбу не повторить сначала.
Об одном я только пожалею,
что уйду, как ветерок по лицам,
что уже ничем не заболею,
что уже тоске не повториться.
Об одном я только пожалею,
сном последним в травах засыпая,
что не знал я никого милее
женщины
поэта Азербая».

Он пропел это одним дыханием, не напрягаясь и не торопясь. Его плечи и голова еще отчетливо печатались на мрачнющем небе.

Днем он был некрасив, его образу не хватало голоса.

И я вспомнил, что во всех встречах с ним мы видели, но ни разу не слышали его. Резко отошел полог, вышел маленький седой Азербай.

— Алибек! — позвал он сына.

- Я здесь, отец.
- Дай двух коней, пусть уходят.
- Отец!.. " ...
- Пусть уходят с миром.

Из-за спины Азербая выскользнула, закрывая лицо шалью, Баян. Смет схватил узду своего чалого, посадил Баян. Поймал коня Алибека, вскочил и, ударив каблуками, они ушли в черную степь.

— Отец!— Алибек яростно плакал, опустившись на корточки.

— Тогда слушай, сын. И вы слушайте. Мужчина Смет опозорил меня. Но поэт Смет продолжит славу Азербая. Мясо готово?

— Уже спелое, ата! — звонко откликнулась молодка в белом жаулыке.

— Кто голоден, пусть войдет,— и великий старик скрылся в юрте...

ВНАЧАЛЕ БЕ СЛОВО...

На заборе начертано—
СНЕГ.

Тот же почерк
и тот же мел,
что вчера выдавать умел
не такое!

Вдруг просто —
СНЕГ.

Покоробил текст новизной,
вырождением простоты,
не повеяло ни весной,
ни зимой,
нет, писал не ты.

Это творческое бессилье!

Вкус творца —
в соблюдении стиля,
есть бумага,
а есть заплот —
слова искреннего оплот!
...Был горячий июльский день,
арычок не давал прохлады,
шелковицы узорная тень —
драгоценней старинного клада.

А директор бюро прогнозов,
человек пожилой,
курносый,
отвечая на наши вопросы,
трубно кашляя,
обещал:
«В третьем квартале —
дождь и росы,
а в четвертом
два-три озноба,
дрожь и насморки
по ночам».
Вдруг
непонятое свершилось —
СНЕГ упал на бока инжира,
он ложился нетающим жиром
на горячую жижу —
СНЕГ.
А директор кричал:
«Ей-богу!
Я такого июля не помню,
в два столетия раз бывает,
а точнее —
один раз в эпоху!»
Нас не балуют перемены.
Я обычаям изменю —

одобряю проект пельменной,
струганина и спирт
в меню!
В чайхане
не играют в нарды,
арбы — в сторону,
ишаки
на постромках волочат нарты,
песьи вывалив языки.
Рады люди —
и млад, и старый:
мы так жаждали перемен.
...СНЕГ попадал,
устал,
растаял.
Вроде кончился эксперимент.
СНЕГ исчез,
затоптанный нами.
Но теперь,
разрешая спор,
мы божимся забором.
жарко молимся
на забор.

АЗ, БУКИ, ВЕДИ...

*Глаголь: Добро есть. Живете зело.
Земля иже и дервь како люди
мыслете.*

Наш он — покой. Рцы слово твердо.

Кирилл

Чем в куче скучать —
в одиночку сучить

нить живую,
свежий свет повстречать,
Справа — Киев,
Одесса — ошую.

На росстанях торчать,
на омегах читать
черты — резы.
Добрый воин иль тать
о гранит потупил свои лезы?

А направо пойдешь —
воскресенье найдешь
и свободу.
А налево пойдешь —
фарисейство найдешь и субботу.
Если прямо пойдешь —
ничего не найдешь,
это, правда.
Почесался Кирилл,
повздыхал, покурил
и обрадовал.
Прямо
в небо взлетел,
и растаял, как дым,
стал угодником
и причислен к святым
в назиданье земным
греховодникам.
Те туда и сюда!
Обошли круглый свет,
снова встретились.
Кто-то прямо ушел,
где-то бродит еще,
это — третий.
То ли зрением слаб,

то ли вправду велик
этот мирик,
погрязая в грехах,
обрастая стыдом,
бродит лирик.

Не вернуться ему,
а спроси — почему?
Не отвечу.
Если прямо пойду,
ничего не найду,
может,
третьего встречу.

CREDO

В лето 6488. И нача княжити Володимир в Киеве
единъ и постави кумиры на холму: Перуна древена, а
главоу ему серебряну, а усь злат и иныя многы кумиры.
И жряху им, яко богом, и оскверняху всю землю Рускую
требами своими скверными.

Пахарь

Крики, кличи, не битва —
а брань,
ругань рук, визг окованных плеч,
я орал мечом твою бронь,
брови вились, как стая вран,
чтоб на глаз, как на падло,
лечь.
Вой над полем
я пропадал;
он броню мою прободал,
ислевал меня, изрубал,
словно ложкой, клинком

вынимая
плоть мою из железных рубах.
Его боги сильнее, рыбак...

Рыбак

Бурый ветер людей взволновал,
вижу, ходят они вал на вал,
захватило меня, понесло,
щит — ладья,
и копье — весло.
Сам в кольчуге, как рыба в сети,
Князь Владимир, дай чудо!..
Прости...

ПЛАЧ КРАСНОЙ ГЛЕБОВНЫ I

— Сеют в землю тело,
веют дух от плоти,
увязаю в плаче,
в туге, как в болоте.
Уцелей, мой пахарь,
возвращайся с битвы,
не ходи на поле
без моей молитвы.
А кому молиться?
Тихо в чистом поле,
подает убийца
чашу истой боли.
...Волны, ходят кругом,
я, как берег дальний,
поднимаю руку —
доплыви, рыбарь мой,
проплыви проливы,
окунись в ладони,
будешь ты счастливым,

если не утонешь.
Но круги на волнах
расцвели багровы,
опустели челны,
рвут тебя баграми.

II

Все мне было мало,
мир не мной загадан,
мое солнце пало,
мнут его закаты.
Скачут угров рати,
Украину крадут,
печенегов братья
забирают грады,
кормят коней диких
бологом отборным,
почернели лики
на стенах соборных,
плачет полонянка,
мнет железно тело,
не такого мужа
гладить бы хотела,
не такого воя
забавлять собою,
не такую силу
у небес просила.
На кошме на белой
пусть меня позорят,
на кошме на белой —
красные узоры.
Побелеют груди
лик законопатит,
породить уroda
приползу на паперть.
Грех ты мой нелюбый,

ни ночной, ни денный,
сын ты мой угрюмый,
отроче мой темный.
Ты мне не явился,
я — тебя искала,
ты нам народился,
как трава из камня.
Будешь мерить время
роком и годиною,
мир измеришь долем,
а тоску кручиной,
а веселье будешь
измерять ендовой,
будешь мерить долю
не верстой —
аршином.
Пахарем — по праху!
Рыбаком — по грязи,
воином — по страху,
вороном — по глазу,
будут твоей памятью
и кошма и паперть,
будет твоей руганью —
бого-
матерь.
Раздамся — всем!
Раздамся вширь!
Я земь — паши!
Я пашня — сей!

Всю распаши!
Пожаром ржи
до края ветра распахнись.
Вселенна — рыжая, как Русь,
и ни полоски
для межи...

III

...Облетели стязи,
рухнули хоругви,
и тоска на князя
наложила руки.

Право славы

Владимир Святой (поначалу — Великий)
для древней Руси выбирал из религий
одну —
кто же богом нечаянным будет —
Яхве, Аллах, Иисус или Будда?
— Много богов у меня в пантеоне,
Волос — скотов и стихов покровитель.
Хорс огнеликий, славный Дажь-бог,
ветрами правит унылый Стри-бог,
много их, всех не упомнишь, пожалуй.
Чем на Руси заправляет Сварог?
Мокош какой-то лохматый и ржавый,
Тор никудышный, бессовестный Один,
Гот — новобранный,
Перун только годен.
Требы ему совершать мы согласны,
жертвы приносим, хорошие, дня нет,
чтоб не кормили девицею красной.
Но на Спасителя он не потянет...
Хазарин поднялся, под мышкою — Тора,
и рек: «Удивляйся, все то, что из Торы
я прочитаю, и будет историей,
а все остальное — поганьски которы.
Забудем раздоры, Изиду, Иштору,
я предскажу — это станет не дорого,
будут — москвы, петрограды, рязани,
если славяне пройдут обрезанье.

Будут рабы у тебя, а свободу
ты им даруешь только в субботу.
Пить эту самую, ты понимаешь,
непозволительно. Пей только воду.»
— Э-э,— покачив головою седой,
так отвечает Владимир святой:
— Питие на Руси есть веселие.

.....

— Верно!— вскричал, выделяясь чалмой,
тощий болгарин.—
Разве водой?..
Теплой бузой услаждают желудок
люди аллаха.
Это же люди!..
Ты посмотри на меня—
я ль не весел!
В этом коране — тысяча песен,
то, что тебе обещал иудей, -
не для людей. -
Разве суббота — это свобода?!
Сколько перстов у ладони?
Шесть?
Пятница — день твоего народа!
А пятниц в неделе не перечесать!
Четыре жены доведут до Адема^[39].
Молись, достигай наслажденьем высот,
четыре красавицы!..
Нравится тема?
Четыре жены!..
— У меня их семьсот...

IV

А черный кушан ничего не сказал,
он глотку не драл,
не вытаскивал чтива,

он идола медного показал —
танцует на тельце младенца
Шива.

Что можно душой принять—
то приятно,
то неприятно, что непонятно.

Зло — под ногами,
пляшет Добро.

Это не ново и не старо.

Дьяволы Запада и Востока,
демоны Юга, Севера звери:
стою перед вами —
во что же мне верить,
если Добро мое так жестоко?
Хватаясь за небо, за клочья сини,
гляньте под ноги —
топчете Сына.

Под ноги! Топчете душу живу
и не оправдывайтесь,
вы — Шива!

Будда, которого не принимаю
(я же невежда, иначе не выражу),
я твоих жестов не понимаю,
приподними свою пятку,
я вылезу.

Будя.

Владимир Святой опрокинул ендову
синего меда. Семь ендов.

«Не охмурите, злыдни; я — добрый!..»

Рвал на груди кольчугу. Готов.

Но христианин не торопился,
вращал византиец очами в углу.

Старый Владимир в доску упился,
глухо упился, пошел ко дну.

Встал византиец, погладил плеча —
левое, правое. Лоб, живот.

Прикосновением леча,
пьяного князя к дощине ведет.
Эту дощину на черных ладьях
морем Понтийским на княжий двор
через пороги не зря припер
трезвый апостол — софийский дьяк.
Старый Владимир глаза протер,
вперился в доску, дик и кудлат,
видит: смола закипает в котлах,
торой растапливают костер.
Свитки корана в огне ревут,
голые злыдни хазарина рвут
и басурманина!
И Его!..
Старого, пьяного.
— Что это?!
— Суд.
...Вот уже десять веков подряд
книги монахов так говорят:
Грешник вскричал, не владея собой,
жен раскидал и построил собор,
в Днепр хлыстами Киев загнал,
сбросил Перуна,
волхвов загнул.
Стал причащаться только водой
князь по словутному реклу —
Святой^[40].

РЕПЛИКА НЕХРИСТЯ И — БО, ИДЕАЛИСТА

Не верь летописцу:
солгал монах.
Не той доской
обращен монарх.

Вовсе не адовым гореньем — жженьем
пугал его византийский сексот,
ведь понимал, что князь — многоженец,
в его гареме —
семьсот,
а кто любит плоть,
тот и духом крепок,
не убоится картин свирепых.
Учел византиец промашки своих конкурентов:
Муслим обещал загробную ренту
за воздержание —
райских пери.
Сытому мясом — обещать репу!
Лишней женщиной не склонить к вере
такого парня.
Еще нелепей
манить его идолом,
танцующим на младенце,
ибо
напомнилось прошлое,
от которого никуда не деться —
топча потомства князей-соперников,
Владимир Гулящий стал
Владимиром Первым.
Не хватало, чтобы в Киеве
в каждом углу
торчало по бронзовому топтуну-кумиру.
Владимир Жестокий был не глуп,
чтоб допустить такую сатиру.
Но все же реликвия —
формула всякой религии,
какой же старинной вещью
стронуть Владимира Вещего?
Чем тусклее от времени краски,
тем прекрасней они для рассудка,
мутнеют от лет очи,

и удлиняются ночи в сутках,
а ночи у стариков очень чуткие —
то печень шалит,
то почки,
а в промежутках
память являет время,
когда был молод,—
не лежало на веждах власти бремя,
члены не сковывал годов холод.
Не веришь? — завидев ее, пылал до озноба,
она неприступной была (не веришь?),
дева — зазноба.
Потом, как потоп,
толпы тел
прокатились волнами огня
по его постели.
Как тени по стенам,
но те ли?
Владимир Седой холодел
в неверье.
Не огня бояться адового,
холода страшиться надо нам,
невежды.
Чем всегда занималось искусство?
Являло нам форму тайного чувства.
Искусство — это способ выражения
отчаянной надежды
Возрождения.
Не судом стращай,
но стыдом обращай,
возвышая, прощай,
унижая, прельщай.
...В нездешние одежды
закутана она,
последняя надежда,
вселикая жена.

Святая Мария!
Седая Мария!
Жар до озноба
(не малярия!)
Дразнит, манит,
глядит с холста
бесстрастная,
глазастая
красота.
Валишься в ноги мечте,
постылый,
кусаешь в бессилии руки,
не стыдно.
«Она способна зачать от духа,
эта древняя девочка, '
эта старуха».
Дева Мария!
Последняя жена,
крест —
на гареме:
мера нужна.
Знак отрицания — символ меры,
с него начинают
революционеры.
Перечеркнуть в горячах
с плеча
обычай «бити», «лгати», «красти».
Крест — это огненная печать,
клеймо на крупе блуда
и на челе власти.
Если ты унижал детей,
подлой силой спрягал людей,
если сам уверился в том —
осени и себя
крестом.
Крест на грудь свою положить,

значит
жизни себя лишить.
Страшный суд —
он в тебе самом,
если честен ты
и с умом.
Страшный суд — не огонь,
не дым,
суть страшна—
поседенье ликом.
Был гулящим, жестоким, седым,
все отринул и стал
Великим.
Так Владимир сказал: «Прости...»
Лоб и сердце перекрестил.
Не забылся суровый жест,
подражатели были,
есть;
знак оделся в чугун и жесть,
позолотой покрылся крест,
и, увлекшись трудом позлащенья,
позабыли креста значение.
Крест над храмом
и над горою,
крест — наградой
на груди героя,
на невинность, на совесть,
честь,
на само отрицанье —
крест.
Зло выходит из-под креста,
как убийца из-под куста,
покрывая себя знаменьем
непонятого назначения.

РАССУЖДЕНИЕ КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК О КРАСОТЕ ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ КОСТЕЛА

Согласен,
к вере привлекают красотой —
витражами, майоликой,
купола высотой,
минаретами голубой,
несмываемой акварели.
Священные войны не принесли мусульманству
столько побед,
сколько дала им одна несравненная
Айя-София.
Мечу поклоняют голову,
Айя-Софии душу,
жестокости уступают,
покоряются лишь красоте.
Мечеть, внушающая страх,
и меч, вводящий в восхищенье, ах—
вот идеал воинствующей веры.
Гармония мечети и меча,
объединив Светило и Очаг,
мирит небесные, земные сферы.
Согласен.
Но символы культа устаревают,
их давно бы — под пресс.
Застревают в вещах,
в сознании застревают!
Разве не бесят
вознесенные в небеси Рукоять—
крест
и Лезвие кривое — полумесяц?
Век Атома, а символы религий
похожи на реликты

века Адама.
Я сравниваю абрис минарета
с фигурой баллистической ракеты,
в ней — сочетание красоты и мощи,
вот это — знак,
а не святые мощи.
Ракета — храм,
в ней — круглолицый бог,
набитый мышцами с хорошей кровью.
Сегодня богом может стать любой —
как говорится, было бы здоровье.
А эти боги бродят по луне,
по лику,
как мурашки по спине.
Светило тяжкими шагами месят.
Увы, кафиры топчут полумесяц!
Мы поклонялись символам отчаянья
и подчинялись знакам отрицанья,
молились (лживо) духам изможденным,
ночами (искренне) стучались к женам.
Валились в ноги хрипом и напевом
творениям живым,
жеманным евам.
Мы называли женщину иисусом,
аллахом, буддой —
термином искусства.
Станцует жрец — поверишь в пляску эту
и будешь поклоняться Пируэту.
Поверили, что кружится Земля,
абстракциями глаз обезоружили,
искусственную правоту суля,
естественную истину порушили.
На голове ученого — парша,
над лысиной ученого — праща;
вращается в петле-орбите шар,
и под давлением центробежной силы

с земли слетает волшебство.
Прощай,
великое невежество травы,
талантливая темнота снежинок,
прекрасное неведение тропы,
минующей округлые вершины.
Невежественны мрачные леса,
наивны наши войлочные вежи,
безграмотны виденья, чудеса.
(Ученые изобрели невежду).
Где верх, где низ в космической дали?
Эй, невесомый бог, определи!
Печатный вал истории — в разнос!
Где прошлого страница?
Где анонс?
Апостол с нимбом?
Летчик в гермошлеме? —
Шумерский снимок
с предисловьем Лема?
Незнание — вот гениальный дар,
тьма обеспечивает небу звездность,
я сохраню в себе не бога —
даль,
мир, упирающийся в неизвестность.
В убитом дереве
бушует лес берез,
его листвой шумит
убитый ветер,
и чащи полумрак от бересты белес —
так срез осины
в полуночи светел.
Не отвращает идол простотой,
звездой смуглей на ложе, лунолика.
Всей подлостью земной
и высотой
я верую,

любовь — моя религия!
Пройдут, как пыль,
века, эпохи, эры,
но эта вера будет бесконечна,
пока опасен силуэт Венеры!
(Вот старики, прищурясь от махры,
глядят ей вслед и думают: «Конечно,
она естественна и человечна,
в особенности —
млечные бугры...»)
И все же не ходите по костелам,
где солнце сквозь узорчатые стекла
стекает по худой груди Христа,
и — тишина,
как в пагоде вечерней,
и — высота,
как в утренней мечети!
Лишает веры эта красота.

БОЛЕ

І
В феврале (да, кажется, в феврале) пустыни
превращаются в красное море. Маки.
В марте пески покрываются травами,
даже верблюжья колючка еще не колючка —
мягка, зелена, и мясистые листья росой
на изломах исходят.
В мае зной выжигает траву до песка,
и виднее овечий помет в раскаленной
пыли.
И лишь зеленый чай
на донышке пиал
напоминает мне,

чтоб я не вспоминал,
и черная вода
на дне сухих колодцев,
напоминает мне,
что мир и желт
и ал.

II

Парит коричневый орел,
приветливо качая клювом.
Я возвращен, я приобрел
вновь мир, который меня любит.
Оцепенев, глядит змея,
стесняется.
Здорово, поле!
Любой тушканчик за меня
и жизнь готов отдать
и боле.
Нет лишних в драме,
все — на сцене,
и знает даже воробей,
мир без него неполноценен.
Поддакивает скарабей.
Он ходит задом наперед,
мой жук навозный,
его любят,
его никто не упрекнет,
случайно разве что
наступят.
Спокойно здесь и без вина,
без отрицания былого.
Встречаются, как слух и слово,
сливаясь в вечность, времена.
В песках поспешности закон
увековечен черепами,
здесь понимаешь:

прав Зенон —
мы не догоним черепахи.

И потому живи и спи,
не торопи заботой вечность,
прямая — это только Пи,
направленная в бесконечность.
И не пытайся измерять
круг
суммой абсолютных чисел,
и не пытайся все понять,
иначе все теряет смысл.
Слезами лет орошены,
овеяны столетий пылью,
мы плохо выучены былью,
легендами развращены.
А за Отаром — поезда,
один из них — мое отчаянье,
не дай мне. Боле,
опоздать,
закономерно
и случайно.
Ну дай мне, Боле,
все понять,
а если это невозможно,
и если это в вашей воле,
простите,
Боле.

«На озерах Кургальджино...»

На озерах Кургальджино
августовская кутерьма —
солнце Африки зажжено

тайным образом
в птичьих умах.

Улетят, не удержит
ничто;
дав круги над родным гнездом,
откочуют в далекий край
вереницы гусиных стай.

Гуси белые,
бедные гуси,
не отпустим вас,
не отпустят
дорогие поля и кущи
паутинные петли грусти.

Не отпустит, задержит
родина,
возвратит на озера
Дробью.
Осень
ветви ломает в саду.
Гусь расстрелянный бьется
в пруду.
Не ударили в телеграммы,
ведь потеря не велика —
не фламинго, не пеликан,
просто гусь
на три килограмма,
«Ну, убили, и что такого?
Ну, протянешь в стихах,
и что?
Ведь единственного —
не сто,
и стихи ведь не протоколы.
Опиши добрым словом

«родинки»—
его раны —
следы дробин.
Это озеро — его родину».
К черту вотчину,
где убит!

Осень.
Снег опускается первый —
его белые страшные перья.
Он весну приносил,
упросим:
«Улетай».
Не отпустит осень.

«Опаздывают поезда...»

Опаздывают поезда.
Опасен семафор зеленый,
упала серая звезда —
опаздывают самолеты.
Прищурил бровью карий свет
мыслитель доброго столетия —
всего на расстоянье плети
опаздывает твой совет.
Тень будущего на портрет
навалится,
ломая краски,
любимая,
на сколько лет
опаздывают твои ласки!
По клавишам и — закричат!
На выручку быстрее Листа
из эпоса джигиты мчат,

опаздывая
лет на триста...

«Это кажется мне...»

Андрею Вознесенскому

Это кажется мне —
Махамбет, как стрела
в китайской стене,
головой — в кирпич,
а штаны с бахромой —
оперенье;
грозный мой Махамбет,
ты давно —
персонаж в оперетте,
я тебе не завидовал,
не позавидуй мне.
Ты не пытайся понять
нашу странную речь,
вылезай из проклятой стены:
уже сделана брешь,
тебе будет не просто —
жить в царствии прозы
поэзией,
исправляя метафорой мир,
как Европу —
Азией.
Только в сравнении с прошлым
живет настоящее,
твой угрюмый верблюд
мне напомнил третичного ящюра.
Есть бревно баобаба —
потому существует нить,
нет материи вовсе,

если не с чем ее сравнить.

Андрей! Мы — кочевники,
нас разделяют пространства
культур и эпох,
мы кочуем по разным
маршрутам,
как бог и религия.
Я хочу испытать
своим знанием
страсти великие,
о которых он, гордый номад,
и ведать не мог.
Я пишу по-этрусски
о будущем
ты расшифруй
голоса и значенья
на камне исполненных рун,
невегласам ученым доверь
истолкованный бред,
да мудреют они,
узнавая познания вред.
Я брожу по степям, уставая;
как указательный палец —
направление пути
укажут железным дрюком.
Это кажется мне —
Аз и Я — Азия,
ошибаюсь.
Мы кочуем навстречу себе,
узнаваясь
в другом.

«Что такое лишние?..»

Что такое лишние?
Попробуйте
постоять на кромке
горной пропасти.
Каждому из нас
дано быть ближним,
не оценишь,
если не был лишним.
Каждому из нас придется это
испытать,
на то мы и поэты,
чтобы мерить мир единой мерой —
образом своим,
как время — эрой.
(Час или минуту —
только эрой,
словно правду слов ничтожных —
верой!)

Мы бываем часто чудаками.
«Ах!» Сказать не просто.
Вы посмейтесь —
человек ударился о камень,
чтоб ногой проверить междометье.
Право восклицаний,
право слога
заслужить — вот исполнение долга
человеческого. Не спеши,
пусть смеется тот,
кто сам смешит.

Право жить. А надо ль это право?
Моя мама — благородней правды.
Кто нас наделяет правом жить?
Те, кто слева,
спереди,
иль справа?
Удивляюсь и сопротивляюсь

каждому, кто разрешает мне
пить из родника
и видеть стаю
дальних птиц в прозрачной вышине...

РАССУЖДЕНИЯ КЕНИЙСКОГО ПОЭТА: ЯМБОМ О ВЕРЛИБРЕ

Как в мелочах мы громогласны!..
Возможности черновика
потрачены,
чтоб сделать Главным
перипетии пустяка.
И в дебрях слов
потерян бой,
мы простоту вогнали
в сложность,
так прячет рукоятка в ножнах
обломок лезвия
тупой.
Все несвободнее свобода,
она сегодня нарасхват —
кинозвезда,
словечко, мода,
цветастый задник для эстрад,
жизнь превращается
в живот,
фронт — в безобидное
фрондерство,
свобода —
это не позерство,
а, как и прежде,—
эшафот,
где ни приятельства,

ни дружбы,
великая до униженья
Свобода требует не службы,—
Служенья.

И правду пробуя вещами,
слезой увязывая речь,
вещали мы,
как обещали,
клялись
себя не уберечь.
И колеса и куролеса,
мешая спады и подъем,
мы превращали мелколесье
в пропахший кровью бурелом.
И в этом пьяном исступленьи,
сметая ребрами бугры,
насаживаясь на углы,
мы находили искупленье.

Как мы не дорожим годами,
мы понимали в этот миг,
как мы не дорожим листьями
своих
всегда последних книг.
Как мы боимся в них
крушений.

Словес крутые виражи —
замедленное выраженье
смущенья нашего
и лжи.

Свободой головы мороча,
мы долго говорим о том,
что надо бы сказать короче

о самом главном
и простом:
строчи, поэт, любым калибром,
сади слова любой обоймой,
стих может быть
и не верлибром,
поэзия была б
свободной.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ — УТРО

*Из-за этого умереть?
И ради этого жить?
Оставь, оставь этот спор.*

Исикава Токубоку

Всем, всем, всем!
...Взвод поднимают в семь.
Взвод через рощу идет.
Взвод его песню поет:
«Добрая родина-мать».
Взвод продолжает спать.
Солнце над краем земли,
целиться в солнце!
Пли!
Изрешетили солнце Севильи,
за спины закинули карабины.
Никто не палач,
когда все — палачи.
Всем душу отдал —
за всех получил.
(Простится ему банальная гибель,
слишком красивая —
вся в апельсинах,

синее небо,
что-то еще...
Очень общо.)
У крайнего мятый китель.
«А чо?»
Карманы плодами набиты,
как ранец.
И надо добавить —
у ЭТОГО крайнего
от жуткой отдачи болело плечо,
и ЭТОТ схватил от капрала наряд —
клозеты.
Газеты о том говорят,
уборную драит,
обидой горит,
и мать вспоминает —
капрала корит.
Руки разъела проклятая хлорка.
Лучше — расстрелы,
чем эта уборка!
Язвы ноют,
конвойный плачет,
слезы те
ничего не значат
для истории человечества.
Ну, а если взглянуть
иначе?
Плачет ЭТОТ,
не продохнуть.
Палачи, задыхаясь,
плачут:
«Расстреляли бы лучше
хлорку,
чем этого симпатичного
парня,
Лорку, кажется...»

крикну: «ЛОРКУ!...»
Всем! Всем! Всем!
Снова пробило семь!
Снова над краем земли
солнце.
Свети, пали!
Ать, два, ать —
солнце мешает спать.

ЧЕРНОЕ И КРАСНОЕ

Fas— высшее право в римском
законодательстве.
Fas est —«Все дозволено».
Римские полководцы посылали солдат
на варварские города, вооружив легионы
правом: фас!
Fas — погружайте клыки:
мир для вас.
Fas — на чужую жизнь и имущество
нет запрета.
Fas — это блеск суженых злобой
глаз,
рас —
человеченье
это.
И вспыхнули в Риме XX века
скрещенные молнии фразы — Fasist.

Да, первый философ в черной рубашке
был — лингвист.
В наследство от предков ему достался
варварский мир
(он был историк),

он — в черной рубахе,
он — против черных
(он был истерик).

Нам

все дозволено!

Даже логика и аналогия,
и право помнить —

волчицей вскормлены

Ромул и Рем,

и повторяются из века

в вечность

лбы их пологие

и волчья серость,

овечья бледность

и бедный Рим.

В любви не признаются

на латыни,

не ссорятся, не спорят

на латыни,

когда здоровы были,

молодыми,

о нас не говорили

на латыни.

Латинским звуком нас не отпевали,

латинским словом нас не обрекали,

пощупав пульс, врачи не говорили

той фразы, что пугала

в старом Риме:

Fas est!

А это значит — тело бренное,

ешь напоследок

жирное и пряное,

пей коньяки,

не обращай —

что больно,

ты обречен,

и значит,—
все дозволено!
Жизнь коротка,
пока живешь — Fas est,
пока не ляжешь,
на груди скрестив
худые кисти,
облачайся в черное,
гуляй, фашист!
...Но есть под Брестом,
есть один окоп...
Избитый пулями
багровый бруствер...
Залитый кровью фас
веселых пруссий...
И мой не защищенный
каскай лоб.
Нерв обнажен,
открыто сердце там,
туда мои пути, дороги, тропы.
И где б я ни был,
я — в окопе том.
Последний мой рубеж
меня торопит.

БЕЗЫМЯННАЯ ВЫСОТА

Хроника

Памяти Курбана Бадельбаева.

— От полка осталось 32 штыка —
шли из окружения от самого Бреста.

Всего-то начальства — писарь полка,
последняя позиция — холм безымянный,
что стал для альпийских стрелков Эверестом.
Взрывом гранаты мне порубило глаза:
командир наш, писарь полка Соломин,
снял с себя мокрый бинт, завязал мне глаза
и сипло сказал: «Посмотрим,
нас еще двое,
мы им дадим рукопашную,
меня узнаешь по голосу,
остальные — не наши...»
Я бежал рядом с Соломиным,
упираясь штыком в темноту.
Спотыкался и падал,
вставал,
воздух прикладом круша.
У ног моих бился, хрипел, умирал Соломин.
Они гоготали, меня окружа,
не знал я,
что гибнуть придется в таких условиях...
Сержант Соломин вел боевой дневник:
«Выйдем к своим — говорил,—
для отчетности пригодится».
Кто дезертировал,
кто геройство в боях проявил,
кто где похоронен —
всему вел учет полковой писарь Соломин.
Когда на кордоне лесном
погиб пулеметчик Корнилов,
и не осталось больше в полку коммунистов,
писарь Соломин, раненым горлом сипя,
клялся со всеми и, нарушая устав,
принял в партию
весь наличный состав
полка. В том числе и себя.
Все заявления, сколотые ржавой булавкой,

сохранились в сыром планшете.

«Я, рядовой Семенов Петр Ильич, из Саратова, улица Кровельная, 17, имею четыре класса образования, грамотный. Соцпроисхождение — бондарь. Прошу считать членом ВКП(б). Имею жену Марию и пятерых деток. Машенька, если что — возвращайся к отцу в деревню...»

И приписано рукой Соломина: «Пал коммунистом за Родину у моста через реку Серень, 20 августа 1941 года. Достоин Ордена Красной Звезды».

«Я, рядовой Садыков Хамит из аила № 5 около города Ош, неграмотный по-русски и по-киргизски. Соцпроисхождение — трудовой пастух. Имею мать и отца, убитых басмачами. Тяжело ранен в бою за Родину, умирая, прошу принять в партию ВКП(б), записано с моих слов сержантом Соломиным».

Вместо подписи — кровавый отпечаток пальца.

И ниже — тем же округлым писарским почерком:

«Принял смерть коммунистом на высоте 230 у деревни Голенькой 25 августа 1941 года. Достоин Ордена Красной Звезды».

Через тридцать лет
пионеры отроют планшет,
документам размытым поверят райкомы
и военкоматы —
всех, кого принял в партию,
кого представил к награде
сержант Соломин —
примут и наградят,
посмертно.

Высота 230 на старенькой карте-трехверстке
обозначена цилиндрическими неправильными
овалами,

будто отпечаток папиллярных узоров.
Высоты, которые мы держали,
похожи на кровавые отпечатки
солдатских пальцев!..
Безымянная высота.
Почему — безымянная?
Тридцать — отдали ей навсегда свои имена:
четыре Ивана, три Петра, два Ахмета,
Хамит и Саша,
Кирилл, Владимир, Исаак
и маленький санинструктор
Агаша —
без вести павшие солдаты наши.
...Над могилой обелиск
крашеной фанеры.
По тропинке поднялись
молча пионеры.
Ветер галстуки качнув,
шевельнул знамена,
стал почетный караул
тридцатиименный.
Над могилою года —
как высокий полдень.
Яркокрасная звезда
словно общий орден.
Родиною звали мы
край, где рождены,
там кизячные дымы,
тополь у стены.
Как назвать страну берез,
где мы встали в рост,
не скрывая от огня
ни крови, ни слез?..

ЖДЕМ ПАРОМА ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ

Деревенские мальчишки ловят плотву на удочку.
Безногий бородач на телеге с сеном. В моем блокноте —
зарисовки, первое, что пришло на ум.

Избы вздыбились на косогоре,
как плоты на речном повороте
при заторе.
Между ними,
словно льдинка,
в белой блузке и косынке
вдоль заборов
по тропинке,
до колен подняв подол,
к мутным водам —
к перевозу,
из былины
с ходу — в прозу,
забежала,
а потом —
отдышалась,
улыбнулась,
встав на колесо телеги,
посмотрела через реку —
не покажется ль паром!
На губах ее помада.
Грудь под блузкою —
что надо!
Не везло, видать, калеке,
взял и приобрел телегу.

И теперь она
в телеге
уминает задом сено,
а старик

глядит елейно.
Впечатляющая сцена.

Оглянулась на мальчишек
(не посмотришь —
не уважишь)
ей бы нужен мужичище —
из плотвы плота не свяжешь.

Он, наверное, не знает,
тот, который подошел бы.
Он уверена, не с нами —
грудь спокойная под шелком.

Он, неверное, в Норильске, -
иль плывет по Енисею,
или вовсе
на Карельском —
броситься б ему на шею.
Может, этот подошел бы
со своей судьбой
тяжелой?
Тот, что рядом
на телеге.
Может, было б ему легче?
Запоздалые свиданья,
бесталанные любви,
сколько было опозданий,
бесконечна эта повесть.
Все так медленно и емко —
избы, удочка, береза
(как замедленная съемка),
женщина у перевоза.

Борода глядит нелепо
на обтянутые икры.

Нескончаемая лента,
непридуманные игры.

СЕВЕР

Смотри,
памирские седые яки
уходят на Чукотку по горам —
растолковал им,
что такое ягель,
травы из северного серебра.
Они, сутулые, прошли Алтаем,
не торопясь, к Саянскому хребту, .
о, страсть — не суета,
не понимаем,
как далеко мы ищем красоту.
Уйду в прикосновение руки,
кандальником в неласковую нежность,
ссылает красота в сибирский
Нежинск,
туда,
в серебряные рудники.
Холодный, благородный мой металл,
в краю морозном ты рожден,
мой белый,
я в золоте жары тебя искал,
прохладный мой,
победный.
Сияет матово лицо в углу,
вхожу в него, крича,
как стог в иглу,
нет, эта женщина
не из ребра,
сибирская, она —

из серебра.
Озон серебряный в бору звенит,
не обжигает кору зенит,
игла сосны,
карагача кора
чуть улыбнешься ты —
из серебра.
В былинах бычьих серебритсЯ ягель,
и запахи его нам ноздри рвут.
Идут по тундре молодые яки
и топчут легендарную траву...

«Вы меня любите, горы...»

Вы меня любите, горы,
любите, ели,
в голубое и белое одетые
годы
надо мной пролетели,
унося названия трав,
дорогих чрезвычайно,
в свои шумные краски
вобрав
все оттенки молчанья.
Горным рейсфедером
правлю равнинную быль —
я прошел по лавинному склону,
и снежная пыль
опустилась на длинный
извилистый след
моих лет.
Росчерком метеоров —
годы иллюзий.
Вы меня любите, горы?

Любите,
люди?

Вас не исправить,
не превратить в плоскость,
ваши изломы,
горы,—
неизгладимы.
Вы так неправильны,
горы,
правильна — пошлость,
вас не сравнять, горы,
вы — несравнимы.

НЕДЕЛЯ

Много веку досталось эпитетов
добрых,
недобрых.
Век сложили в архивы,
упрятали в сейфы:
удобно.
Затолкали в карманы героев
детали событий громадных,
что не влезло — на свалку истории,
для сплетен и для романов.
Собирает поэт-старьевщик
осколки истин,
напевая под нос,
поднимает обрывки канатов мысли,
извлекает из груды гниющей
огрызки фантазии,
рукавом оттирает до блеска
лавровые листья лести.

Потускневшие зеркальца правд
в голубой оправе,
оловянные слитки —
оплывы великих дат,
потрепанные переплеты недавней славы,
ржавые мины, круглые,
как циферблат.
Время войны и мира
вываливается на стол;
на каждой минуте —
минувшее
проступает пятном, как соль;
в каждой минуте —
мина
с хронометром на века,
тикает время мира
в мотивчике чудака.
«Таянья облик зимний,
серое счастье потерь,
звук непроизносимый
В знаке весеннем Эрь,
синь в очертанье сугроба,
жар на изломе льда,
в южных ночах — сурово
западная звезда».
В поисках неделимого
(что это — старь? новь?)
мы копошились в былинах
явей,
в легендах снов,
мы собирали толпы,
выявить символ — тол,
мы накопили злато —
выделить корень зла,
мы разлагали атом;
вываливали на стоп

единые, неделимые
империи — крошева стран,
не верили, но проверили
библию и коран.
«Новость волнует древностью,
старость — своей новизной,
в хламе скрываю с ревностью
истину хлада —
зной».
Где оно, неделимое
ни стенами и ни рвами?
Не краткое и не длинное?
Временем не взрываемое?
Где, на каком расстоянии
целое
состояние?
Может, оно в нирване,
в радости,
в сострадании!..

ДЖОМОЛУНГМА И КОЛОДЕЦ

«Слушай, если меня перед Страшным судом допросят: «Назови поэта», я не вспомню ни тебя, ни сотого.

Лишь колодцекопателя Мадамара.

Там, в Эмбенской пустыне на дне черного колодце,
— сырое пятно лица.

Я никогда не видел его близко, и потому смогу
узнать в тысячной толпе.

Человеческое лицо — не глаза, не нос, оно не
состоит из частных.

Тебя я знаю по множеству встреч. Ночью — ты
ночной, в полдень — полуденный. Ты еще не нашел

своего единственного лица, одного на всего себя.

Я тогда наклонился над саксаульным срубом, и он посмотрел на меня со дна прохлады.

Его нельзя представить сидящим среди нас, идущим по оживленной улице. Он всегда таскает за собой свою яму.

Вспомни, был жаркий день. Мы пили шубат у богатыря Маке. В тени юрты дремали желтые верблюжата.

Я наклонился над срубом и заслонил звезды.

С тех пор осторожен в поступках.

С ним, наверное, скучно быть долго, но мне нужно знать, что на этой земле, кроме болтунов, клятвопреступников и подлецов, кроме великих и невеликих героев, есть и Мадамар».

Садык говорил, глядя вверх, спокойно и негромко, и ладони его, свисавшие с колен, стали еще длиннее и почти касались земли.

«Выродков тенгрианцы почитали вождями.

Человек глухой или лысый мог смело рассчитывать на лишний голос.

А если к тому же он был бельмастым, кривоногим и горбатым — ему было обеспечено место в кабинете святых.

Культ калек определил и землю для вечного жития — плоскую, лысую, с паршою высохших озер, зобами курганов.

Вера — это сознание. Люди и земля подражали калекам.

Сейчас в каждом трамвае найдется с десяток плешивых.

В скором времени выродком будет считаться абсолютно здоровый человек с сильным голосом и пышной шевелюрой». (Оживление в зале.)

Из стенограммы выступления Садыка на совещании работников автомобильного транспорта.

С а д ы к:

Я недавно читал в колхозе,
в душном клубе,
перед кино,
стихи о пальме и о кокосе.
Пастухам было все равно,
что слушать.

Волосатые чабаны,
пот на полы чапанов капал,
поливальщики, шептуны,
усмехальщики, кашлюны
и харкатели на пол.

Я читаю о Джомолунгме,
восхищаюсь Килиманджаро,
всеми горбами земного шара!..
В зале дышат жареным луком.

Тогда послушайте, эй, кашей!
Цикл «Кривые» — басня о косом.
«Шел человек косой,
как дождь»,
безногий в первом ряду —
в ладоши!
Косому понравилось,
когда я прочел
стихи о горбатом.
Горбатая братия
гремела, когда я по лысым прошел
чеканной строфой амфибрахия.

Хромые, косые, горбатые,
лысые
ржали, когда я кричал о немом.
А в третьем ряду в малахае лисьем

молчала и улыбалась,
улыбалась и молчала
прекрасная девушка Майя,
глухонемая.
...Красота как презрение,
уродство — прозрение.
Обитаем в красивой, песчаной степи,
красота нашей родины безголосой,
не оглуши,
так — ослепи.
Оскопи нас, пустыня,
дове́ди наготой до предела
постылых,
узнаем, что делать,
когда будет стыдно.
А мадамaры сидят в колодце,
в глубоком, гулком, как резонатор.
И, заслоня звезду Жель-Майя,
случайно солнце
влезает в кадр.

«Любая влага, влитая в кувшин...»

Любая влага,
влитая в кувшин,
спешит принять
его литую форму,
а слово,
проникая в глубь души,
ей сообщает
собственную форму.
Тьму искажает образами
НОЧЬ,
в КОНЯХ отстали

борзые комони...
Всегда,
повсюду —
горлом превозмочь
границы ужасающих гармоний.
Так, в мир входя,
мы изменяем мир,
он — оболочка,
мы — его основа,
мой мир
рябьсь, морщинась,
как эфир,
приобретает очертанье СЛОВА.
Искрится дым —
сгорел последний том...
Но
вечен знак над легким пеплом
букв,
над кошмами,
над каменной плитой
изогнутый лекалом мысли
ЗВУК.

СИНИЕ ОСТРОВА

Несколько лет назад, двадцатилетним, я побывал в этих местах. Сохранился блокнот.

«Почва: пески и солончаки. Деревья наперечет. Около обвалившегося колодца нашли пенек — то ли пустынная ива, то ли карагач. Распространен саксаул. Пресмыкающиеся: змеи, черепахи, ящерицы (сосущие спящих коз. Портят сосцы). Насекомые: жуки-скарабеи. Скорпионов и фаланг — множество. Из пернатых видел коршуна, ястреба-мышатника, куропаток.

Залетает иногда, неведомо откуда, чайка...»

Местность эта лежала в какой-нибудь сотне километров от самого зеленого, самого тенистого горного города Алма-Аты. Разительный, обжигающий контраст и вызвал заметки начинающего землепроходца.

Прошлым летом мне снова пришлось проехать по этому району. Не скажу, что край уже закудрявился садами, но первое, что я увидел,— чайки над барханами. Их стало больше.

...Мурат-ага, как истый степняк, рад каждому новому собеседнику, кто согласен выслушать повести о его младшей дочери Медине, У него живое, часто вспыхивающее вдохновением лицо рассказчика и тяжелые, малоподвижные руки профессионального рабочего.

Обычная биография. Родился в пустыне Кызылкум. Мальчишкой пас овец. В семнадцать ушел добровольцем на фронт. Стал сапером. Помнит, какой была почва под Москвой, на Карпатах, в Румынии... За войну вынул несколько тысяч кубометров земли лопатой. «Сложить — хороший канал получился бы». Может быть, поэтому и выучился на экскаваторщика.

В его трудовой книжке значится канал Иртыш — Караганда. Есть Бухтарминское и Шардаринское водохранилища. А теперь вот — Капчагайское море.

Простая, современная биография сына пустыни.

Во время одной из последних встреч Мурат-ага сказал: «Понижаешь, одни объясняют мир, а мы его переделываем!»

I

«...Дочь у меня увлеклась географией,
этой науки нет в программе
(Мадина ходит в четвертый класс!,
но что поделаешь — увлеклась!

В спорте, кажется, это — фальстарт,
ну, а пример подаем не мы ли!
Добыла пачку контурных карт,
их называют еще — немыми,
и —
раскрашивать карандашами!
Море — синим,
пустыни — желтыми,
сидит за столом, шевелит ушами,
будто цветы вышивает шелком.
Спросила как-то:
«А что — вот это?»
А я, понимаешь, статью читал,
отвлёкся, глянул:
«А, это Арал^[41]...»
Сказал, не подумав,—
и снова в газету.
Дочь карандаш заточила остро,
заштриховала круглый Арал
коричневым цветом, как гору,
как остров!..
А все, что вокруг — знойную степь,
глину, покрытую солью,
как инеем,
дочка спокойно закрасила
синим...»

II

«...Мой дед знаменит был в ауле
и в селах окрестных —
ходил за три моря соленых,
как значится в песнях,
три моря соленых он видел,
а внук его скромный
своими руками отгрохал

три моря огромных.
И пресных.
Сияют в былинах протяжных
моря легендарные,
(мой дед их названия забыл,
это было — Вчера).
Мои —
Бухтарминское море и Шардара —
пока что звучат неуклюже
под громы гитарные.
Слова не окатаны в песнях,
как галька морская,
в поэмах не петы,
в мечтах побывать не успели,
в них ревы моторов еще не остыли,
в них скалы
налетом мазута покрыты,
но мы их запели.
В песках отрывали
и вам открывали, как темы,
пускай Бухтарминское —
не Средиземное, где нам!..
Не Аравийское,
но Шардаринское — все же!
Мы карту немую озвучили,—
это дороже.
В степи раскаленной, где проклинали
солнце,
молились прохладе ночной
и полыни сочной,
в ударах ветра звенел черепаший остов,
в пустыне желтой возникло, как синий
остров,
море.
В степях Баканаса, в пыльной Долине
смерчей,

не богом, а нами
по плану, по смете
созданное
встает Капчагайское море,
да, синее море подножья барханов
моет,
да, первые волны песок, подминая,
прессуют,
да, сказано — сделано,
слов не бросаем на ветер,
оно еще темное —
дочь его синим рисует
на контурной карте.
Оно будет синим, поверьте.
...А завтра в дорогу,
на новое место покатым,
мы же кочевники,
наши привалы — на карте.
всего три моря (пока что)
в моей анкете,
я молод —
двенадцать пустынь
у меня на примете.
Когда-нибудь
(мы доживем и до этого счастья!),
посоветовавшись, поспорив,
оставят народы
как заповедник
пустыню гектаров на сто,
а может, на двести,
в целях охраны природы.
И будет
на картах желтеть одинокий остров,
и будут съезжаться туристы
глазеть на историю,
и, может, поэты напомним,

как было непросто!
А все-таки
мир переделывать — это здорово!...»

«Бешеной пеной прибоя...»

Бешеной пеной прибоя
в губах моряка — истерика,
вспузырилось воем
определение берега —
эврика!
Темной полоской материка —
эврика!
То ли Африка?
Европа или Америка?
Глинистый берег Евфрата?
Не знаю,
все равно эврикой
называются берега бесконечного рая
(иль ада).
В океане созвучий
эврикой —
Илиада.
В буреломе подъемов
эврикой —
время спада.
Берега тишины —
Герника, Хиросима...
Запах кожи твоей —
эврика керосина.
В песчаной пустыне паломник,
бархан излазив,
дрожащую синь фантазии
определил:

— О Азия!
Марево синего берега
желтой пустыни
(эврика!)
в сахарах вселенной звучит безнадежно:
— Оазис...

СИЛЬНЕЕ «ФАУСТА»

В Кара-Кумах у полусоленого колодца Кыз-Кудук (что значит «Колодец Девушек») обитал в саманном дворце косой старик с тихой старушкой. Семь дочерей — в разных концах области. Восьмая ушла в другие пустыни с гидрогеологом Шайтан-беком. Моим другом. Наша партия работала неподалеку — мы с ним часто заезжали на Кыз-Кудук попить соленого чаю. Помню местное поверье: напьешься из колодца Кыз-Кудук, конец, сыновей не будет. Родятся у тебя одни дочери, но зато много. Мы тогда ничего не боялись. Старик шепелявил. Я допытывался, как он относится к этим слухам.

— Шлюхам?— переспросил он свирепо.
...Бог требует внятности
и простоты изложения,
точнее — не просьбы о милости,
но предложенья.
К примеру,
селянин безумствует:
— Боже, хочу орать!
— Ну и ори!— разрешает бог,
не понимая древнее рекло.
— Косить хочу! Пошли мне литовку!
— Ну и коси. И литовку можно.
Окосел крестьянин.

Явилась литовская женщина.
То ли богом посланная,
то ли кем-то сосланная,
не то чудь,
не то жмудь,
но красивая —
жуть!
А земля сохнет,
коса — без дела.
Старик злобно щерится:
— Ниспошли дождь!
Всевышний опять не расслышал,
расщедрился —
послал ему (боже!)
восьмую дочь.
Посеешь просо — пожнешь вопросы,
такова поэзия,
в вот — проза:
восьмая дочь произросла в пустыне,
коса — ручьем,
в глазах озера стынут,
и льется речь,
как речка,
по губам.
Заметь еще и море
обаянья,
души разливы!
Девочка Баяна
такую жажду источала там.
Ох, раскосая литовка
расцвела в песках,
и слова мои,
как слуги,
ходят на носках,
кланяются ее слуху.
А Шайтан не так,—

он кричит, как на старуху,
и она
как мак.

А селянин смотрит косо,
а старик орет —
дочка дьяволу вопросы
скромно задает.
Рвутся ситцевые сети,
кожа — смуглый лен.
Сатана готов ответить —
до того влюблен.

А вопросы не простые,
но ответы—
да!
Убегает из пустыни
дочка навсегда.

— Помнишь, где-то в Ханаане
в старые года,
посохом бурили камни
и пошла вода.
Но тогда бурили боги,
нынче — сатана,
безо всякой ласки,
с бою
достаёт до дна,
мимо альба до карбона
скважина —
а там!..
Вырос высотой
до бога
над песком фонтан.
Высотой в двадцать метров,
толщиной — в обхват,
как береза,

белым смерчем —
в небо
водопад!
...Дед просил тогда у бога
не восьмую дочь,
для земли своей убогой
благодатный дождь.
Чтоб росло на соре^[42] просо —
как же без пшена!
Но услышал его просьбу
смуглый сатана.
Ввел в пески,
как в промокашку,
гул подземных рек,
он исправил ту промашку
хитрый Шайтан-бек.
Поменял слова местами —
дал пустыне дождь,
и забрал, смеясь, у старых
их восьмую дочь.

ПРО АСАНА НЕВЕЗУЧЕГО

В научной литературе давно идут ожесточенные споры: «Кто же открыл Италию?» Ученые нашей области выдвинули кандидатуру легендарного бродяги Асана Кайгы, искавшего для своего племени землю обетованную, где птички выют гнезда на спинах баранов. Он обошел весь свет, но страны тогда еще не были названы, и нанести

его маршрут на современную карту чрезвычайно трудно.

По одним версиям он шествовал по миру на ослиати, по другим — носился на крылатой верблюдице. Есть

сведения, что он передвигался на ладье (утлой).

Доподлинно известно, что был он человеком простым, не любил излишеств, но искал их по всей земле.

Его общественная деятельность послужила темой для диссертаций. Только в этом году с блеском защищены от нападков работы: «Он открыл Италию», «Она уже была открыта итальянцами» и «Некоторые примечательные аспекты метода физической либрации»,

В последнем исследовании были применены и данные компьютеров...

Мы позволили себе включиться в эту дискуссию и надеемся, что наши скромные усилия помогут прояснить черты образа нашего великого предка. Если этой цели удастся достигнуть, автор будет потрясен.

Товарищи!

Наш Асан Кайгы жил в те далекие времена, когда поэтические образы еще не были абстрактными, но были достаточно материализованными:

У бедного Асана
жена — не человек и курица — не птица.
Корыто у ворот и то разбито,
и не запнуться о него и не напиться.
Он на осла залез, ногами бьет,
за утро не проехал и полметра.
«Раз не везет,— сказал,— так не везет!»
Махнул рукой и плюнул.
Против ветра.
Пошел Асан пешком
травой густой,
осла кляня, и надо же — зар-раза!
Попался кто-то, он ногой босой
с размаху пнул его!
(Дикобраза.)

«Вот не везет,— сказал,— так не везет!»
Обида жжет в груди, как брага.
его страданий грустных не поймет,
кто не пинал того дикобраза.
И кто-то шишкой — в лоб.
Ну что за день!
Приставив лестницу, он ловит белку.
Все правильно — свалился,
да на пень,
еще и лестница упала сверху.
На кабана вчера навел капкан,
забыл.
Шел по тропе и скреб под мышкой,
ловил блоху и сам попал в ловушку,
а из кустов во все глазел кабан.
«Да, не везет,— сказал,— так не везет».
Ах, если так, он сменит климат,
на берег тот переплывет,
охоту бросит, вспашет глину.
Посеет просо и пшено,
хурму посадит заодно
и будет чай в тени густой
пить в одиночестве счастливом.
Он в лодку сел. Забыл весло.
Его волною отнесло
и потащило в сине море,
вот повезло, так повезло.
И без ветрил и без кормила,
а море синее штормило.
...Ладью на берег вынес вал.
Заплакал. Краба целовал.
Попал он в странную страну:
там люди были молодыми,
там отдавали дань вину
и говорили на латыни.
А девы, девы — просто ах!

Халвою тают на зубах.
Пройдешь, не хочешь — обернешься,
прощай, Асан, ты не вернешься,
прощай, жена, не возвращай,
прощай — кабан, капкан и белки.
Дикобраз, и ты прощай!
Мне повезло —
прощайте, беды.
Мы завершаем эпопею:
Асан, по кличке Невезучий,
вошел с улыбкою, в Помпею,
и — в тог же час взревел Везувий.
Чем это кончилось — известно
(Везувий — это есть вулкан),
под грудой пепла и известки,
почил печальный старикан.
И отмечая это зло,
так подытожил патриот:
«Кому у нас не повезло,
тому нигде не повезет».
И подумал дикобраз:
«Дело сделано, жаль безумных!
стоит пнуть меня —
всякий раз
извергает огонь Везувий».

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ МУЛЛА РАХМЕТУЛЛА

Мулла ел свинину и приговаривал:
«Бедный ягненок!
Бедный ягненок!»
Целые сутки его переваривал
и усомнился:

«Наверно, теленок!»

Бог наказал —
занемог животом наш мулла,
как роса на листке,
на лице его выступил пот,
как листва в сентябре,
пожелтел наш мулла,
ох, алла!
Как январский сугроб,
поднимался его живот.
«Может, это конина была?» —
напрягался мулла,
«О несчастная лошадь!
Паслась по долинам
меж скал!..»

Сколько дум передумал
впервые Рахметулла!
Был он просто мулла,
а к субботе
мыслителем стал.
Мяса нынче и в рот не берет.
Объясняет: «Кастрит».
Но зато поумнел, раздобрел,
научился острить.
Так свинина сыграла
свою лебединую роль,
и со странной иронией,
свойственной только свинине,
нанесла мусульманству
непоправимый урон.

АХ, МЁД, АСАН!

Летает пчела, собирает нектар,
она облетает барханов с гектар,
сосет и колючку
и белый ковыль,
пасется,
а доит ее, как кобылу,
счастливый Ахмет.
Он сидит на бархане,
любуется,
как работяга порхает.
О, если бы знала пчела,
ее мед
почем на базаре Ахмет продает!
Но золотом жажду
не утолить,
волнует Ахмета
полуденный зной.
Шел мимо Асан по пути в неолит,
из века железного
с тонкой иглой.
Асан-путешественник
счастья искал,
пространства измерил,
и Время прошел,
в шумерских таблицах
бродил аксакал,
в ракетах летал,
книгу мумий прочел.
И нате —
Ахмета счастливым нашел!
И нам рассказал досточтимый
Ахмет,
как дал он Асану бесплатный совет:
«Ему говорю — неразумно копать
иглою колодец,
ты стар и горбат»,—

куда там!
Асану советовать — то же,
что буйволу в ухо
поэмы читать.
С ним спорить,
что гвозди в скалу забивать,
я стал уставать
и слова забывать.
«Напрасно теряешь достоинство,
друг,
ослу даже золото —
тягостный вьюк»,—
такие слова мне аллах говорит.
Асан продолжает иглой ковырять.
Асан ради дела
свинины поест,
работает в пятницу —
не надоест.
Не выдержал я
И ему говорю:
«Халат полосатый тебе подарю».
Из всех полосатых полезней: пчела,
из всех усатых
полезней Асан.

Он вырыл
иглою
колодец вчера,
меня напоил
и напился сам.
Не выдержал я и ему говорю:
«А хочешь, лопату, тебе подарю?»
«Я счастлив,— сказал многословный Асан
Игле я нашел применение. Ура!»
Ладонью довольно провел по усам,
иглу прихватил и ушел

во Вчера.
Люди,
кто иголку ищет в стоге сена,
знайте, что иголка у Асана.

В НАШЕМ АУЛЕ БЫЛ САПОЖНИК

Сапожник всем шил сапоги
на свой размер,
он полагал, что этим делает людей равными,
изувер.
А был он бонапартовского роста,
носить такие сапоги нам, великанам,
было непросто.

И каждый думал, что сапог
придумал бог,
чтобы почаще мусульманин
молиться мог.
(При молитве сапоги снимаешь;
понимаешь?)
Таким образом: молитва —
песня занемевших ног.

К мечети жмут
и стар, и млад,
хромая,
на бегу кричат,
(ступня в тисках).
«Аллах велик!»
Пророка славь —
сапог велит.
Не верит в бога лишь босяк
и обормот,

не верит в бога сам башмачник —
ему не жмет.

Аллах велик! Но он от нас далеко. А проклятый сапожник вот он, скалится. Молимся мы теперь всем аулом, чтобы сапожник стал большеногим. Чтобы портные не были столь пузаты, а скорняки-шапочники — так узколобы.

СЕРАЯ МИСС

«Мой соколик!..—
говори; мышонку мать.—
Будь готов: к тяжелой доле,
виновата.
Я тебя произвела на этот свет,
где мышам покоя нет
и жизни нет
от котов.

Их так много,
их родят не только кошки,
даже овцы окотились,
эх, бараны!
Недотепы, рогоносные скоты!..
Рогоносцы нам враждебны,
как коты.
Запомни —
там, где кончается лещ,
начинается щука,
там, где скудеет кобель,
начинается сука:
и собаки ощенились в этот год
не щенятами, как было,
а кутятами.

Принимают псы, хотят ли, не
хотят ли —
размножается за счет Собаки
Кот.
Докотились!..
Никуда они, трезоры, не годятся,
хорошо еще, что утки не котятся.
Хорошо еще, что слон
пока мужчина,
а не то—
хоть пропадай наш род
мышиный!..

Будь готов к тяжелой доле,
мой мышонок.
Чтобы выжить — будь могучим и ученым,
развивай свое МЫШление
и МЫШцы,
ждут тебя коты,
мышьяк
и мышеловки,
ждут отчаянно твои собратья,
мыши.
Надоело: «Тише, мыши,— кот на крыше!»
Пусть услышат:
«Мой Мышонок — еще выше!»
Пусть попрячутся коты,
когда услышат:
«Мой Мышонок на котов охотой
вышел!»

«В нашей маленькой речушке...»

В нашей маленькой речушке
гвалт озлобленной рыбешки —
занесло издалека
не леща,
не судака,
а веселого кита.
Кит вам, братцы,
не кета!

Не берет на червяка,
не бросается на просо,
на крючок глядит с вопросом,
удивляя чебака.

Неуклюжесть проявил,
сделал неприятность лиху —
щуку брюхом придавил,
превратил ее в лещиху.

Свирепеют пескари —
нарушение порядка!
То играли с щукой
в прятки,
кто не спрятался —
гори!
Вот какой она была,
а теперь?
Как камбала.
Хладнокровны, говорят,
ох, не верю!
Далеко до карася
даже зверю,
если тину возмутит
(так уж водится!..)
иноземец, то есть нет —
иновodeц.

«Убирайся в океан! —
кипятится наш сазан —
тоже мне, нашелся чудо,
ты не чудо,
просто — иуда!..»
Уверяю, он не кит,
он плотва,
но — вундеркинд.
Речка в море не впадает,
ему некуда податься.
Пожалейте чуду-юду,
вы же рыбы, а не люди!

БУЛЬБУЛЬ [\[43\]](#)

Написано на свободных страницах книги жалоб и предложений чайханы № 5 Душанбинского горпищеторга.

...Омар Хайям,
как убеждают критики,—
блудник, язычник,
как сама луна.
Есть практики любви,
есть теоретики —
он был монахом
и не пил вина.
И пусть в Герате
суетятся медники,
выковывая для него кальян
из трех колен,
из четырех колен —
он не курил,

хоть разрешали медики.
Простим его —
не уважал табак,
и к мальчикам не хаживал
в кабак,
животных громогласных не любил
(не потому!..)
а может, просто так.
...Но если б он сказал,
что он не пьет,
но если б написал,
что он не плут,
что веры и познания
он— оплот,
тогда бы не поверил ему .
люд.
И выпиши, пожалуйста,
в блокнот
его слова:
«Ничтожен тот, кто пьет.
А кто не пьет —
ничтожнее вдвойне».
Как видишь, пью не по своей вине.
И если я, бывает,
напишу,
что я грущу,—
я вовсе не грущу.
А если говорю,
что трудно мне,
не обращай вниманья:
это — не...

Но если вдруг, упрямая,
прочтешь,
слова о том, что нож —
это не нож,

и счастлив я вполне
(такая жизнь!)
поверь, неверная,
насторожись.
...Ах, соловей, счастливый полиглот,
его рулады каждый разумеет,
поэт — не птах,
слова его — не мед,
когда не понимают,
он немеет.

Разинув рот, вопит
и все же — нем.
(Зальется соловьем,
глаза закатит).
Когда ему за пение не платят,
он станет непонятен
и жене.

И все же — лучше,
если не поймут,
ты представляешь,
если вдруг поймут,
прислушаются,—
за ноги возьмут
и за руки,
в болото окунут,
как куль.
Чтоб уподобить соловью —
бульбуль.

В ВИНОГРАДНИКЕ

По виноградному листу
ползут улитки
и тащат на спинах
кибитки.
Кочевник скакал,
а век его полз,
у каждой бурной сложности
есть тихий образ,
он обнажающе прост
(чтобы понять суть общественного явления,
найди в природе сравнение).
«Ты ползешь»,— улите скажем,
удивится: «Нет, мы скачем».

БАЛЛАДА

...Степные дороги —
летописные строки,
я умею читать и понять
эти тропы.
Караваны тянулись,
траву приминали таборы,
миновали кочевья,
оставив на глинах
метафоры.
Извиваясь, уходит к увалам
хроникальная лента —
по асфальту гудят самосвалы,
внося свою лепту
в исторический шум,
суету чертежа Мангышлака.
А увалы чернеют, как горы
безрудного шлака...

На полуострове Мангышлак, в песках — развалины древнего аула. Саманные и кирпичные стены, дома без крыш. Путники его обходят. Караваны не делали здесь привала. Говорят, зеленым аулом был Шар-таг. Осталось только одно дерево — карагач. Он виден издали. Как длинные, наверное, его корни!.. Я отдохнул в его тени, прислонившись спиной к тугому, ровному стволу. По сырцовой потрескавшейся стене пробежала ящерица. У порога — тусклые от пыли и времени осколки керамики.

...Когда-то колодцы бурлили,
орали глашатаи:
«Эй, люди, потом не скажите,
что правды не слышали!
Вторая жена водоноса
Мусы Безлошадного
опять родила
от горшечника Смета.
Не слишком ли?»
Шумели собрания,
акыны рубили по струнам,
и, вечные темы дербаня,
кричали оракулы:
«Спросите меня, мусульмане.
ответу по лунам...»
Поэты, глаза возводя,
выводили каракули.
И вдруг это кончилось.
Хроники замерли.
Что же случилось?
Было банальное.
Въехали конники —
божья милость,
будто заблудшие витязи
старого Дария.

Ну, порубали,
ну, испугали —
на то ведь история.
С кем не бывало!
Все испытали, но выжили.
Слезы мочили пергамент,
не высохли —
выжали.
Это прекрасное качество
человечества.
Время — густая чадра
на бесчестьях отечества.

II

Зараза обиды ударила в племя,
качнула старейшим,
их белые шапки
в пыли
под ногами
женщин.
В Шар-таге нет веры,
отравлена правда,
душа заболела,
как будто чума замутила колодец,
как будто холера.
Враги, сделав дело,
ушли в неизвестность
по сорам,
и женщины сняли платки,
наслаждались позором.
Молчала толпа на майдане,
сквозь пальцы редела;
мать сбросила черную шаль,
мне в глаза поглядела.
«Иди, если можешь,
один,

пропади —
я завою.
Иди, потому что никто
не пойдет за тобою.
Мужчин не осталось в народе —
глаза опустили,
им хочется шить,
уходи,
их сердца опустели».

III
Запахи неба чуя,
в Шар-таге
выли собаки.
Луна на такыре тени чертила —
тайные знаки,
мигала слюда на отлогих склонах
песчаной гряды,
ноздри тревожил
неосторожный запах беды.
Это пахнет пастушья звезда,
та, что указывает, куда
мне идти,
от песка до воды,
от воды до порога.
Наведи меня, запах беды,
на следы,
что темнеют в холодном песке,
словно очи пророка!

IV
Кто осужден обидой,
тому нельзя назад,
он чью-то тайну выдал,
он попадает в ад.
Вода, как кровь, свернется

в колодцах у дорог,
и мать пустую чашу
расколет о порог.
Палит его проклятье,
испепеляет стыд,
не знать ему прохлады,
пока не отомстит.
Не спрятать под халатом
угрюмый груз обид,
нет ни отца, ни брата,
пока не отомстит.

V
... В конце тропы
в такырах
нашли костяк.
Он не вернулся —
вымер
аул Шар-таг.
Столетия народа
забыты в час.
У каждого порога
осколки чаш.
Пусть, ворошить бывшее —
шакалий-труд.
Ветра следы героя
в песках
сотрут.
Да, если не напомнить,
что был в роду
один, который понял,
что он не трус.
Один, который вышел
в тринадцать лет,—
великий!
(если выше

мужчины нет).
Пусть одинокий подвиг
вас оправдал.
Пусть этот род
запомнят
за то, что дал
вам предка.
А свидетель —
такыр Бетпак.
Не обходите, дети, аул-Шар-таг.

ГЛИНЯНАЯ КНИГА

2700 ЛЕТ СПУСТЯ

I

В песках заснеженных Муюнкумов пес отару знатный чабан Ишпакай.

На ленивых овец лаял пес Избагар, сбивал их в кучу.
Дул ветер.

И явился Дух.

— Теперь хочу спросить тебя, чабан Ишпакай из племени Иш-огуз. Твоя жена Шамхат красива ли?

— Да как тебе сказать, аруах^[44]? Хорошо рожает. Варит мясо и чай кипятит. Помогает в отаре.

— Теперь хочу спросить тебя, чабан Ишпакай из племени Иш-огуз. Твою жену Шамхат любишь ли?

— Да как тебе сказать, аруах-мурза^[45]? Я привожу ей подарки, когда бываю в районе. Ситец на полушки, шелк на одеяла. Двадцать пиал в прошлом году привез. Две в хурджуме, правда, раскололись. Но мы их склеили.

— Теперь хочу спросить тебя, чабан:
явления разрозненные
связью

ты можешь ли скрепить?

— Да как сказать...

— А как она?..— дух смущенно кашлянул.

— Да как тебе сказать, аруах-мурза? Рожает понемногу.

— Пожалуй, я вселюсь в тебя, чабан. Не возражаешь? И буду ждать, когда слетит в тело жены твоей дух истинной Шамхат.

— Э, нет, мурза, не хватало, чтобы жена моя стала шлюхой, у нас дети. Я ей еще зоотехника не простил.

Чабан сладко зевнул, поежился на ветру и, застегнув шубу, окликнул пса Избагара.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА В СТУДКОМ ОТ
ИШПАКАЯ,
СТУДЕНТА ИСТФАКА

«На вечере отдыха я познакомился с девушкой по имени Лиза. Фамилию не сказала. Проводил ее до дому. Обещала встретиться.

Пришел в общежитие, посмотрел на часы — было почти 12.

Я было хотел уснуть, и на меня сошел Дух. «Дай,— говорит,— сяду на тебя, дай наслаждение мне».

Я ему дал! Гоняясь за ним, свалил шкаф и избил студента С. К. и Ф., с которыми у меня дружба с малых лет...»

А было так.

Кривоногий, широкоплечий субъект лежал на железной койке и глядел в потолок, потрескавшийся от землетрясений.

В окно общежития лезли ветви яблонь, лепестки летели на учебник истмата, журчал темный арык, отравляя друг друга носками, спали С. К. и Ф.

И явился Дух.

Он, отодвинув зашумевшую ветвь, влез в окно, прошелся по комнате и внятно спросил:

— Ты и есть Ишпакай из племени Иш-огуз?

Я ждал 27 веков, когда произойдет встреча Ишпакай из Иш-огузов с девкой по имени Шамхат. Это свершилось!

— Во-первых, она не Шамхат какая-то, а Лиза, — начал заводиться студент.

— Женщина не уснет, если не обманет дурака. Сейчас твой мускусом наполненный сосуд лежит в обнимку с каким-то ничтожным персом. Любую пальму

тенью валит солнце. Она утоляет его жажду, с волос своих снимая покрывало...

— С каких таких волос?..— студент взбесился.

— Заткнись. Кто здесь дух, я или ты?

Оттопырь ухо и слушай. Меня мучит печаль.

— Где ты есть?! — вопил студент, дико озираясь.

— Я здесь,— мрачно состриг дух.

И началось.

II

Телерепортер:

— Мы попросили прокомментировать эти события известного ученого Ишпакая.

Мы в секторе бронзы Института истории.

Навстречу нам, как вы видите, встает седой, но еще полный человек с мужественным загаром на скромном лице...— Простите, мы вас оторвали от занятий.— Итак, навстречу встал врач исторических наук.

— Доктор.

— Нет, я не оговорился, именно врач, спаситель истории нашей, знаменитый исследователь времени Ишпак-ага, замечательным, изобретением своим...

— Открытием.

— ...перевернувший историю нашу...

— Историографию,— смущенно поправил Ишпак-ага.

— Полимерами здесь не обойтись. Что такое?.. Прошу прощения,— полумерами не обойтись. Ничего не, понимаю... Ах, да,— полумерами в вашем деле не обойтись.

Только решительное...

— С удовольствием.

В позапрошлом году мною была обнаружена на скале Коксайского ущелья надпись, выцарапанная бронзовым стилем. Она состояла всего из нескольких строчек. Характер письма близок к этрусскому.

Прочесть было нелегко, но возможно. Язык памятника оказался близок к современному огузскому.

(Знаменитый ученый смущенно улыбається, похлопывая себя по бронзовой скуле).

— Удобно ли это говорить, но сам я происхожу из племени Иш-огуз, и мне доставило величайшее наслаждение читать эту высокопоэтическую надпись. Самое, удивительное...

(Здесь ученый делает еще один механический жест, который пока не представляется возможным описать. Но пусть он остается в памяти телезрителей как одно, из проявлений эксцентричности великого человека.)

— Но самое удивительное, дорогие товарищи, что в этой поэме речь шла о моем тезке, об Ишпакае, вожде скифов, называвших себя к тому же именем «Иш-куз».

Сведения об этом народе и его вожде сохранились в хронике ассирийского царя Ассархадона. В 7 веке до н.э. ишкузы во главе с Ишпакаем ворвались по западному побережью Каспия из южнорусских степей в Ассирию-Вавилонию и несколько лет правили ею.

Эта поистине редкая находка позволила нам сделать множество бесценных для науки выводов:

а) Самыми древними памятниками огузского письма считаются орхоно-енисейские надписи — 5-6 в. н.э.

Наш памятник отбрасывает историю огузов на 13 столетий в глубь веков — до 7 в. до н.э.

б) Поставлена точка в многолетнем споре скифологов: тюрками или иранцами, были скифы, напавшие на Ассирию? «Конечно, огузы!» — недвусмысленно заявляет нам памятник. И это мнение, — решающее.

(Ученый взволнованно повторяет первый жест).

в) Само название скифов «иш-куз» дошло до нас, равившись в «иш-огуз» (или «иш-гуз»).

Вы знаете из учебников, что огузы (или гузы, как нас называли западные источники) делились на два крыла:

ош-огуз (т.е. Внутреннее племя) и таш-огуз (т.е. Внешнее племя).

Я имею честь принадлежать к Внутреннему племени.

(Ученый стыдливо воспроизводит второй жест).

— Имя «Ишпакай» также, как видите, сохранилось.

И этимологизируется оно только огузским словарем. Означает буквально — «След стерегущий», так называли кочевники пса-тотема. И сегодня еще огузы величают породистых псов именами типа — Ислакар, — Испакай и т. п. вариантами.

Название пса-бога даровалось вождям, становилось именем-титолом.

Мидяне заимствуют это сложное слово, превращают в абстрактный монолит и делают переносное значение главным. Спака — так они называют уже любого пса. Далее оно распространяется в индо-ирано-европейских языках.

— А как вы находите случай с Чабаном и Студентом? Возможен ли Дух в наше время?

— Памятник содержит восхваление вождю Ишпакаю. Ода написана ямбом, что свидетельствует о скифском происхождении этого популярного в наши дни стихоразмера.

Кроме того, содержание памятника позволяет литературоведам сделать однозначные выводы относительно истории лексического образа, относящегося к типу сравнений: «О моя косуля». Так неизвестный поэт 7 в. до н.э. называет своего героя. В средневековой поэзии джейрану, газели, серне уподобляются персонажи женского пола. Употребление в памятнике этого образа может вызывать подозрения. Не забывайте, что действие происходит во времена, близкие к матриархату, и вполне возможно, что под именем Ишпакая скрывалась женщина.

Тем более, что сам памятник не дает определенного ответа на этот вопрос, ибо огузский язык, к сожалению, не знает родовых окончаний.

Много загадок таит памятник для будущих исследователей.

— Телезрителей интересует, чем вы заняты в эти дни.

— Я председатель жюри конкурса на лучший памятник славному предку. Мне понравился один проект. Памятник будет установлен в центре среди яблоневых насаждений. Одежды и поза подобраны с таким расчетом, что трудно будет сделать заключение о половой принадлежности Ишпакая.

Выпуклое родимое пятно на щеке будет означать его ишкюзское происхождение. Правая рука — на рогах крылатой косули, попирающей змею. Змея символизирует рабовладельческую Ассирию.

Слева — неизвестный поэт с тяжелым стилем в обеих руках.

Одежда и прическа нейтральны, так как пол поэта также, к сожалению, покрыт мраком неизвестности.

Запроектирован вечный огонь.

Из какого материала, вы спросите.

— Из какого материала?

— Скульптуры будут отлиты из скифской бронзы. Для этой цели мы добились разрешения переплавить предметы маткультуры скифского периода — сосуды, браслеты, фибулы, бронзовые зеркала, мечи-акинаки. Больше всего дадут металла бронзовые котлы, по которым наш музей пока занимает ведущее место в мире.

Материала потребуется много. Идут интенсивные поиски. Но уже очевидно, что бронзы на всех не хватит. Поэта придется сделать чугунным.

А относительно Духов сказать что-нибудь определенное трудно.

(Великий ученый воспроизвел третий жест.)

III

Ученый врал. Он скрыл, что Дух являлся первым не кому-нибудь другому, а ему.

У каждой истины — дорога лжи.

...Много лет назад молодой аспирант Ишпакай стал патриотом.

В исследовательском институте, где среди таш-огузов он проходил курс аспирантских премудростей, пробиться в люди не представлялось возможным.

Молодой иш-огуз был поставлен перед альтернативой: или тратить годы и годы на борьбу за кресло МНС^[46], или сменить профессию, стать землекопом, садовником, каменотесом.

Каменотесом?!

С этого все и началось.

Нам трудно сейчас проследить весь извилистый путь ассоциаций, вспыхивавших в его свежем мозгу. Важен вывод.

— Что такое открытие? — задал он себе вопрос.

И получил положительный ответ: «Это изобретение».

Чтобы пробиться, нужно выбить великое открытие.

И он его выбил.

Работа с зубилом пошла на пользу. Он загорел и окреп.

Несколько лет он терпеливо ждал, пока дожди и солнце сделают свое дело — надпись должна пройти стадию нужного выветривания, чтобы никакой таш-огуз не смог установить ее свежести.

За это время произошли кое-какие события.

Сгорела частная квартира и все черновики будущей расшифровки. К тому же он забыл, в каком месте Коксайского ущелья она находится. Скала.

И все стало серьезным.

Действительно, случайно, лет через 20, он открыл надпись, будучи на охоте с сотрудницей другого института. Пришлось ее призвать в свидетели и этим самым обнародовать свою связь.

Развод с женой был затяжным. И это отняло драгоценное время. Надпись, сфотографированная и перепечатанная в «Вестнике», разошлась по миру.

Так как принцип алфавита и текст были начисто забыты им, дешифровка отняла несколько месяцев.

Этой работой одновременно занимались многие ведущие специалисты как наши, так и зарубежные.

Было предложено уже пять вариантов дешифровки.

Ишпакай спешил: он знал — добыча уходит из рук.

Нелепость положения усугублялась отчаянием брошенного мужа.

Польский профессор А., знаток мертвых языков, объявил о своей расшифровке. Он прочел надпись языком дубским.

У него получилось:

«Эзре сын Петосири внук Панаммувы дед Тиглатпаласара... бык... осел... жрец... Киририша-Нахунте, Шильхак-Иншушинак... сделал».

С ним вступил в спор специалист мертвых языков Скандинавии англичанин Б. По его версии, язык надписи оказался близким к мертвому хертскому, но прочесть удалось с помощью еще более мертвого котьского. В Коксайской находке оказалось многовато личных имен, звучащих довольно дико на первый взгляд, но это только подтверждало афоризм: «... История соткана из имен»^[47].

Вот как выглядел текст:

«Свабадахарьяз, Сайравилас, Стайнаверияз. Я выписал.

Вагигаз Эриль Агиламуди камень Харивульфа, Харарарь».

Скромному, поседевшему МНС Ишпакаю пришлось держать бой с выдающимися противниками.

Это случилось в позапрошлом году. Ночью.

Он сидел перед грудой исчерканных страниц, седой, угрюмый как лунь.

И у него пошло. Он все вспомнил.

Талант ученого, как сказано однажды,— суперпамять.

Открывать — это значит вспоминать давно и всеми забытое. Зазвучал, встал с лица бумаги древний, своеобразный эпос:

«Вот он (она) Ишпакай — надежда ишкузов, грозный (ая), как лев (львица), герой.

Ассирия дрожит перед тобой,

Мидийцев в землю ты вогнал (ала), герой,

Египту спину ты сломал (ала), герой,

как сыр сырой, ты выжимал (ала) врагов».

— Пой, чтоб ты треснул, ясновидец, пой!..— раздался хриплый, страстный вопль чей-то.

— Кто здесь?— испугался седой как лунь.

— Уа, мудрец, провидец мой, дуй дальше, среди двуногих равных нет тебе, пой, чтоб тебя!..

— Кто вы? — МНС трясся так, что его было жалко.

— Я! — мрачно сострил Дух.

— Это вы, профессор?.. Я просто шутил, не больше!..

Клянусь совестью!.. (А надо сказать, что Ишпакай подозревал руководителя института в том, что тот подозревает его.)

— Не бойся, животное. Ты истинный поэт. Была такая должность при дворе.

— Да где же вы?

— Здеся!—повторялся Дух.

Это была страшная Ночь Сомнения.

Он пережил ее (его) и утром отнес статью с расшифровкой в редакцию «Вестника», и она вышла с подписью «МНС Ишпакай».

IV

После опубликования сенсации противники взяли свои слова обратно.

Профессор А. прислал ему поздравительную открытку.

Англичанин Б. разразился подробным письмом совершенно небританского темперамента.

Приглашал в Оксфорд погостить.

Между прочим, послание начиналось со слов: «Дорогая мисс Ишпакай».

Видимо, он так расшифровал не принятую на островах формулу «МНС», значившуюся в подписи сенсационной статьи.

Короче,— так были посрамлены таш-огузы, вынужденные уступить место СНС^[48] первому иш-огузу — историку.

Так родилась новая истина. Истина-мать, породившая множество других, как и положено истинной матери. Но сказано, не бойся врагов внешних (таш), а бойся врагов внутренних (иш).

Появился новый аспирант из иш-огузов (село Никаноровка), с явным намерением пробиться в люди. И он не нашел ничего лучшего, как выступить против теории доктора Ишпакаея. Он ударил в корень.

V

Аспирант Ант-урган Сумдук-улы на многих примерах доказал, что мужчину в 7 в. до н.э. возможно было уподобить косуле. Он нашел в кладовой памяти народной разрозненные отрывки забытого Эпоса о хане Ишпакае.

«Нестройность композиции знаменитой в недавнем прошлом народной поэмы,— писал он,—объясняется просто. Я выслушал ее по частям и от разных лиц. Часть Первую мне напел 97-летний чабан Шах-Султан Саксаулы, брахицефал. Скончался в прошлом году.

Часть Вторая записана со слов 96-летнего колхозника Магомета Субботина, долихоцефал. Скончался на днях.

Письменное происхождение данного эпоса доказано тем, что Субботину дед его говорил о каких-то кирпичах писанных, в которых якобы разбирался прадед Субботина. От него и началась устная традиция. Кирпичи эти (видимо, речь шла о клинописных таблицах) пошли потом на хозяйственные постройки, которые оказались впоследствии в зоне затопления Шардаринского водохранилища.

Мы привели в порядок свои полевые записи и теперь с волнением представляем на суд ученого читателя бесценные образцы поэтического творчества наших далеких предков.

Даже то небольшое, что удалось сохранить народу из гигантского эпоса (пробелы невозполнимы!), со всей очевидностью свидетельствует против основных положений теории уважаемого доктора Ишпакая, сомневающегося в половой принадлежности вождя иш-кузов.

Мы публикуем свод, сохраняя орфографию и морфологию речи народных сказителей, стараясь грубыми поправками не исказить аромат подлинника.

«Увы, забыты звуки древних песен, я ими наслаждаюсь один»,— как сказал один неизвестный поэт. Правда шла к нам сквозь тьму веков, освещая яркими образами свой путь. Но дошла до нас как живой цветок, «который в своем расцвете прелестен».

АНТ-УРГАН СУМДУК-УЛЫ.

Никаноровка.

VI

Эпос был напечатан в новом журнала «Вопросы искусства», редактируемом док. Ишпакаем.

Редактор предпослал публикации несколько слов.

«Чем дальше от нас отодвигается бронзовый век, тем острее память сердца. Еще недавно казалось, что тема скифов исчерпана научными рассуждениями и стихотворением А. Блока «Да, скифы мы, да, азиаты мы», — но оказалось, что мы имеем возможность взглянуть на те трудные времена с высот древнейшей поэзии.

Чувство справедливости обязывает нас сказать немало хорошего о товарищах, отдающих себя нелегкому (и подчас — неблагодарному) ремеслу — собиранию забытых эпосов.

Я знаком в деталях с эпохой и потому несколько пристрастно отношусь к подвижнической работе моего молодого коллеги. И беру на себя право кое в чем не соглашаться с ним.

Пример редакторского насилия: из главы «Казнь», где повествуется о сражении мидян со скифами, нами убрана фраза: «и славу пушки грохотали», как несоответствующая материальному колориту бронзового века.

Убрал, несмотря на сопротивление составителя, для которого вообще характерна гипертрофированная преданность подлиннику.

Что сказать о самом эпосе? К какому виду поэзии его отнести?

Мы имеем дело с трудным случаем.

Та стихи, которые можно начать с обращения «Граждане!», литературоведы договорились называть «гражданскими». Они могут звучать на площадях (например, «Граждане, послушайте меня, да-да!..»)

Стихи, которым приличествует обращение «Товарищи»!— определяются термином «товарищеская поэзия».

Те стихи, которые как бы начинаются с личного имени (Люся, Ахмет, Иисус),— негражданские и нетоварищеские.

Но поэма, которую мы представляем, выходит из рамок трех измерений, она подвластна четвертому — Времени^[49]. И начинается она с обращения — «Ишкузы!..» Посему мы можем считать, что она относится к жанру, уникальному в наш век, — это ишкузство.

Думается, что поэму с интересом для себя прочтут огузологи, скифологи, ассириологи, урологи, иронисты и просто те, кто интересуется историей родной литературы.

Док. ИШПАКАЙ.

ЭПИЛОГ

*Явлений знак узнай
и будешь властен...*

Великое Язу.

Каждому племени нужен один человек,
ушибленный звездой. Заводите таких.
У ишкузов был такой счастливец — Котэн.
У него можно было не спрашивать: «Куда
идешь?»
Он сам, невзирая на твое несогласие, покажет
тебе дорогу, насильственно сделает
счастливым.
Он шел из Ниневии в Харрапу на годовой
базар, видел по пути:
1. Как плохо ухаживал старик за

плодовыми деревьями. Он ругался, крыл садовника первыми, средними и последними словами, брался и показывал, как надо ухаживать за деревьями, чтоб они плодоносили.

2. Шел дальше и видел, как плохо саманщик крыл крышу.

Котэн забрался, столкнул с проклятьями кровельщика и, запустив руки в саман, выгладил крышу до блеска.

3. Шел дальше и видел сидящих в безделии на берегу начатого канала ленивых землекопов.

Он пинками вдохновил их, сам схватил тяпку и пробил канал до реки.

4. За рекой в пыли и гаме носились друг за другом глупые всадники.

Он переплыл бешено реку, ссадил первого попавшегося, вырвал у него меч и с криком «Кто же так рубится, несчастный!..» бросился,— и поредела толпа после прополки.

Остатки обратились в бегство.

А плохо рубились в тот раз враги отечества. А бежали от меча его карающего благословенные свои.

Даже во враге он не терпел бездарности.

5. Войдя в Харрапу, он услышал указ государя. Стоял в толпе и заорал:

— Дурачье!.. Что за несправедливый указ? Разве так надо управлять страной?

Он рванул, чтобы показать.

Его схватили с радостью сарбазы. Среди них были Садовник, Кровельщик, Землекоп, Воин и Глашатай, который держался за гудящую голову свою, ибо бил Котэн

трубою по голове его.

6. Кривой зайчик стоял на широком лезвии топора.

— Осел! Кто так точит топор?..

Точильщик присоединился к сарбазам.

7. Палач спал на ходу. На эшафот его взводили под руки, так он был ленив.

Котэн лег на широкий пень плахи.

Палач поднял топор над головой и захрапел. И стоял, как статуя Сна.

Возмущению Котэна не было предела.

Он вскочил, швырнул Палача на пень и прекрасным жестом снес ему голову.

— Вот как надо!

Палач даже не почувствовал, он продолжал спать.

— Понятно?— грозно спросил Котэн.

— Понятно!!— хором ответили Садовник, Кровельщик, Землекоп, Воин, Глашатай, Точильщик и Палач безголовый.

8. Чтобы воспеть его умелость, поднялся на эшафот сам Государь с казенной арфой.

«О всеумеющий Котэн, да здравствуй!»

Котэн вырвал из рук его арфу.

— Разве так надо меня воспевать?!

Он взобрался на самую высокую башню Харрапы, воздвигнутую в честь победы Ассирии над Эфиопией (башня была сделана из костей слонов, взятых в этой войне).

Он увидел Сад, Крышу, Канал, Поле битвы и многое он увидел.

Это было то время, когда не умели крыть крыши, точить топоры и править.

Потому и любовь к совершенству была сильна, и весь мир виноват был

перед Гармонией.
И он сказал. Мы речь его не помним.
9.

ОРАКУЛ

Ишкузы!

Земля — это круг,
перечеркнутый тонким крестом,
(ты — самое спелое яблоко
под зеленым листом),
четыре дуги
в центр глядят с четырех сторон,
тебя сносит к центру,
и ты прерываешь сон.
(Ты раньше созрел,
другие зреют пока,
спит твоё племя зеленое,
греет бока,
от души пожелаем ему
солнечных снов
и послушаем, что нам расскажет
Хан Ишпака.)
— Над каждым из сущих
зреет в небе звезда,
падают звезды...
— Ты утверждаешь?
— Да.
Спит человечество вечно,
но каждый век
из храпящей толпы
поднимался один человек.
Он просыпался внезапно
из тысячи или ста,
вскрикивал от ожога:
это его звезда,
с неба срываясь, падала на него.

Побегаает по планете,
усыпанной спящим людом,
ногами о глухие тела постучит —
никого!
Покричит, побуянит —
никого
не разбудит!
(Но сможет увидеть мир таким,
каким он уже не будет
за пределами его жизни.)
И снова в будущее
пропутешествуют народы спящие,
и в следующем веке
проснется один человек,
чтоб зафиксировать или исследовать
настоящее.
С каждой эпохой пустеет небо
на одну звезду.
Это значит —
опять снесло человека
в яблочко.
Человек со звездою во лбу
живет наяву.
Что ему, бедному,
в краткое время явлено?
«Жизнь — это сон», — сказано, но не нами.
Явь — это смерть. Неплохо?
— Феноменально.
Глянь, много ли в небе осталось
холодных звезд!
Этот сон всемогущий называется
анабиоз.
...И когда опустеет небо,
проснутся они,
медленные народы
с заспанными глазами,

потягиваясь,
глянут сквозь щелки на дни,
здороваясь,
пощекочут друг друга усами,
парочку анекдотов
хором расскажут
сальных,
почешутся сообща.
— Ну как?
— Колоссально...
Чуть изменился мир —
сдвинулась география,
их отнесло во сне
к самому краю
давно.
И лениво подумают люди:
«Спасите, ограбили. Где же центр?»
И скажут, подумав: «Не все ли равно!»
Это осень.
Жизнь растений бедна и печальна,
травы степные покроем угрюмый снег,
каждый век, просыпайся от сладкого сна
изначально,
будь на белом снегу беззащитен,
мой человек.
Ты раньше созрел, другие зреют пока,
спит твоё племя зеленое,
греет бока,
от души пожелаем ему
солнечных снов
и послушаем, что нам расскажет
хан Ишпака.

ИЗ ОБВИНЕНИЯ ДЕВЯТОГО

Хор-хахте, Старейший.

«Когда мы сломали юного царя Ассархадона и он исчез из области досягаемости нашей, мы погрузились в благословенную Ассирию, как меч в золотые ножны.

Небесная Ладья наша Аспан Кайыгы^[50] натолкнулась на рифы рока и опрокинулась над этой страной.

Именем предка нашего Сары-Кена и его Великого Язу^[51], оставленного нам в назидание, Белый Шатер с Черным Верхом обвиняет тебя, юный хан Ишпака, внук Сары-Кена, предводитель восьми уруков^[52] могучего племени Иш-Куз.

Закон Язу гласит: «Правящий да не может не совершать проступков. Да останется безвозмездным восемь проступков хана. Да предстанет он перед судом Белого Шатра с Черным Верхом за девятое преступление. И постигнет его тогда справедливое несчастье».

Ты совершил благополучно восемь отступлений от закона, и каждое из них стоит восьми. Но Язу — священна. Мы не хотим слышать о девятом».

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

*Будь на белом снегу беззащитен,
о человек!*

Она прошла рощу (назовем ее оливковой),
присела в тени дерева могучего
(назовем его лавром),
широким рукавом отерла с лица влагу.
Это были слезы.

I

...Тривиальный сюжет эпохи бронзы:
в одном из главных городов Ассирии
у храмовой проститутки Шамхат
был в услужении раб по имени Перс.
И когда из степей ледяного Танаиса
ворвался в рощи холодный ветер
и в храм Ишторе вошли
дурнопахнущие воины
и набросились на женщин,
как волки на стадо,
кряжистый скиф Дулат
выбрал самую стройную.
Она оказалась сильной.
Он не сделал с ней того,
что ей было обещано его появлением,
ибо — он не искал в море брода,
но нашел его.
Камнями и золотом она откупилась.

II

А что сделал Перс, увидевший в щель
начало насилия?
Он не бросился в храм,
он не поднял меча на Дулата,
он поспешно в священную рощу
бежал
вырыть вечное ложе себе
под зеленым лавром,
и втолкнул между ребер своих
затупившийся бронзовый нож.
А что сделала девка Шамхат?
Приползла,
забросала землю любимый труп,
навалила камень.
Этот поступок позволит сказать:

о, не слабы в Ассирии женщины!

III

Ишпака, наш герой, однажды
бродил по земле
и увидел ее.
Всю в цветах, под лавровым деревом
у могилы.
Скифы свято хранили обычаи предков
и духов боялись.
«Сидящий у трупа,— гласил Язу,—
неприкосновенен».
Хан скучал.
Он не ушел, не осмотрев ее всю.
А осмотрев, не ушел.

IV

Закрытые глаза, полураскрытый рот
и волосы, скрывающие шею.
Она была похожа на Ишторе,
богиню плоти.
Был полдень. Тихо и мирно жужжали
в Ассирии пчелы.
Раздавленные скифами, замерли жирные
города.
Вселенная грустно от битв отдыхала.
Конь страсти взлетел
на дыбы,
удары копыт достигали виска.
Откроем секрет:
хан, как пчела, потянулся к цветку,
тень пчелы омрачила цветок,
и цветок закрылся

СЕРНА [\[53\]](#) О ПЧЕЛЕ

Я слушал чудный запах розоватый,
листы ронял подснежник угловатый,
в безмерности цветка врывался воин,
жужжа благоуханием,
мохнатый.

Ступала нежно тишина по лугу,
звенели маков бронзовые латы.
И жала не тая, пчела летала
и взятки не брала
с тюльпанов виноватых.
Как будто на луга спустилась благодать,
неслышно били орхидей набаты.
О Ишпака, не верь орлиным чувствам,
но пчелам верь,
предчувствиям крылатым.
Они влетают в нас
и жалят душу,
и мука меда
воздается, ядом.

V

Шамхат глядела грустно на тюльпан.
Не каждого любят,
но каждого губит
надежда:
«Ах, вдруг обернется,
увидит, полюбит!..»
Невежда.
Мы явлены миру.
Стоим в обличительном свете.
Молись о другом —
пусть мимо пройдет,
не заметит.

VI

ДИАЛОГ ЦВЕТКА И ЗЕЛЕННОЙ МУХИ СЛАДОСТРАСТИЯ

— Бесстыдство меда
легче покоряет,
там мед готовый в сотах.
Я — цветок.
Из нитей солнца
соразмерно сотканный,
во мне нектар еще никем не взятый,
не переваренный в утробе жадной,
не превращенный в липкий сок,
и в соты
не выдоенный.
О меда красота,
достойная меча,
уродство, ждущее удара
факелом,
а я цветок, вкушение которого
смертельно пчелам всем,
кроме одной.
Пусть мухи вязнут
в меде сладострастья,
мне суждена великая
Пчела.
...По лугу бродит бык
в избытке неги,
губой траву мешая с лепестками,
как бы вино водою разбавляет.
Все ближе он к Цветку подходит,
пегий.
...А что сказала муха,— неизвестно.

VII

— Мы хотим тебя здесь,— выговаривал хан,
на поросшем цветами бугре,

мы хотим упираться ногами в валун,
в валун неотесанный.
Чтоб лепестки слетали, как фарфор,
на камень,
наполняя тело звоном.

СЕРНА ОБ АССИРИЙСКОМ БЫКЕ, ЛЮБОВНИКЕ БОГИНИ ИШТОРЕ

С тобою я расстаться не могу,
отныне я скитаться не могу,
бык жадности привел меня
к тебе,
зачем не повалиться на лугу?
Уходишь в ожерелиях стихов,
от страсти отказаться не могу,
звенят браслеты рифм на ходу,
вдвоем бы оказаться нам
в стогу.
Бык жадности привел меня
в сады,
где корни пальм в объятиях
воды,
кокосы дарят жирным молоком,
твоих грудей касаться не могу...

VIII

Шамхат уходила прочь, не поднимая глаз.
Да не будет тайной,
что глаза ее — два громадных
горящих шара,
объятые мохнатыми лапами
священных скарабеев.
Она шла нешироким шагом,
стесненным прозрачными тканями,
и живые ягодицы ее

просились в грустный взор,
как два таланта [\[54\]](#) благородного золота,
приснившиеся голодному рабу.
О раб, познавший огни ночи!
Ты, кто кроме вьючных ослиц
и блудливых коз с бубенцами
держал в стиснутой пятерне
горячие от пота космы женщины,
кто, запрокинув ее лицо,
заглядывал в зев и видел,
как во мраке колотится
о ребра ее счастливая печень,
кто, прежде чем в горло
вогнать крик,
вспоминал в совокупности всю
мудрость своего племени,
чьи мужи славны копьем,
а девы щитом знамениты.
Ты не одобришь хана Ишпака.
Но ты одобришь ее, которая,
«сложеньем раззадоря,
ворота бешенства открыла
перед ним».

Ишпака, не терявшийся в битвах,
шагнул за ней.
Напрасно, могучий.
Ибо за первым шагом последовал второй.
Остановись, герой. Пока не поздно.
Но было поздно — сделан третий шаг.
Шестой!
Седьмой!
Четвертый!
А восьмой был шагом самым первым,
говорят.

...Кто видел осла, идущего под гору?
Таких нет среди нас.
Ибо у истинного мужа
всегда перед глазами табуны аргамаков.
Идущих широким махом,
стукающих копытами — разом,
о, только бы выдержал разум!..
Видений позорных этих
позорнее нет на свете.
Он шел семенящим шагом,
не шел, а сучил ногами,
теряя колчан и шапку,
глазами глядя нагими.
Так волк умолял барана
отдать ему ярку,
злился.
Она уходила, и
пряный
за ней аромат стелился.
Кони заплыли жиром,
всадник плелся пешком
за храмовой проституткой...

ОБВИНЕНИЕ

Когда враги поднимали на копьях нашего
славного предка Сары-Кене, он кричал с той
высоты, к нам обращаясь:

«Я выше их на высоту копья.
Ишкузы, будьте прокляты,
как я,
не отдавайте семени чужим,
не делайте врагов себе подобными».
Так завещал нам хан Сары-Кене,
Он мог бы жить в плане немало лет,

ему в шатер вводили
царских дев,
чтоб, семя скифское заполучив,
мир покорить могли они, чужие.
И отвергал их, давший нам обет,
кинжал подняв, отсека источник бед.
Он пренебрег собой во имя нас.
Ишкузов он от разоренья спас.
А ты, несчастный хан, готов отдать
с мольбами семя наслажденья
твари.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВТОРОЕ

*Будь на белом снегу беззащитен,
о человек!*

И
Итак, он стал ее короткой тенью.
Вождь племени ишкуз
ронял свое широкое лицо перед Шамхат.
Напомним с ужасом ее проступки.
Она была подстилкой жрецов и служителей
храма Ишторе.
Пока мужественные воины не разогнали их по
щелям,
она доставалась ученикам письма, звездочетам
и почитателям печени.
А теперь они, более чем презренные, хихикали,
тыкали
острыми бороденками в сутулую спину
храбрейшего
в битвах Дулата, которому было поручено ханом

гнать
караваны с добром к хижине девки Шамхат.
Угрюмый Дулат, отягченный своею тайной,
валил перед ней горы сокровищ, добываемых
из тюков эллинских и минских купцов,
изловленных
на дорогах благословенной Ассирии.
Этого богатства было бы трижды достаточно,
чтобы осчастливить самую богиню страсти
Ишторе, обладающую шеей, грудью и станом,
наделенную ягодицами, несравненно белее
хищными,
чем шестьдесят задов, подобных заду девки,
имя которой рядом с именем богини
произносить
неподобно.
Чем же она покорила вождя Ишпака?
Если ты поэт, не отвечай на этот
страшный вопрос!
Лучше посмотри, как раздает она бородатым
нищим
дары его!
Чаши из бирюзы и хрусталя,
высокие сосуды из нефрита,
светильники и зеркала в футлярах,
и оловянные кувшины с ароматом
для умащения груди и паха.
Но что важнее для потомков
описать —
блеск утвари
или волнение твари?
Утрами травы утопают в росах,
запомним блеск вопросов
и ответов,
забудем описания предметов,
ударь в таблицу, письменная трость.

Запечатли решение поэта.
Отбросим многое,
лишь редкий случай
мы доведем до будущего слуха.
Клянусь, достоин хан
упоминанья,
поступками он обратил внимание
потомков.
Тот найдет табличек груду,
рассказ мой восхитительный
и грустный
другим пусть перескажет
словом грубым,
ибо дословно им не повторить
мой слог, достойный погребенья в небе.
Подвергни испытанию свое
умение читать чужие судьбы.
Мужайся, о читатель, я хочу
не справиться с бушующим волненьем.
Мы начинаем медленный рассказ
о том, как страсть вождя,
став вожделеньем,
губительно на Скифии
сказалась.

II

Но прежде чем великое сказать,
считаю я бессовестным скрывать
к писателям порочным
отношение.
Не будем подражать писателям
иным,
что, в клочья разорвав
дары Ишпака,
стыд наглого вранья
в лохмотьях косноречья

скрывают, златолюбцы.
Пусть же обрушатся таблицы книг,
испорченных их толстыми рунами.
Чем они лучше юношей иных,
свой тучный круп
мужчинам
отдающих?
Таков поэт по имени Котэн,
который посвятил себя раззору
казны Ишпака.
И немало тем
прекрасных он испортил.
— О собака!..

.....

— Ты слышишь, о читатель?
Помешай
писателям иным
исторгнуть лай
по адресу вершителя стихов,
я мог бы им сказать в лицо:
«О свиньи!»
Но уважение к слову
меня держит.

III

Хан себя изгонял
отовсюду со злобой.
Потеряв,
находил он себя
на базарах,
у рыбных лотков
и на крышах слепых звездочетов,
он себя избегал,
и все чаще встречались ему
на дорогах терзаний
египтяне в сандалиях пальмовых,

иудеи в хламидах,
волосатые эллины
и селавики с горазами.
Он глядел на себя их глазами
и поражался
совершенству их зрения.
И узнавался, радовался
реже
и делал то, чего не думал прежде.
Те мысли, что проснулись в нем
однажды,
спать не хотели,
требовали пищи,
он их кормил —
он стал добрее к нищим,
и мысли, обнаглев,
камнями в череп били.
Он видел их,
глухих, горбатых,
грязных.
Крикливых в будни,
молчаливых в праздник,
они его преследовали
стадом,
камнями золотыми
в череп били.
И выхода не находили.
Дулата бросил он на поиск мудрых.

IV

В те знойные дни
на базарах Арема
боролись два мозга —
индей А-брахм,
худой голенастый философ,
седой без седин

старик, но еще не мужчина.
Когда он молчал,
достигая глубин отрешения,
кости его покрывались
морщинами мысли,
плоть очищал он до белизны
алебастра,
силой сосредоточения
опустошался,
был, как сосуд, свободный
от искушений
бессонных,
когда он входил в состояние мысли,
базар умолкал, потрясенный
внезапным сознанием истины.
Иудей Брахм-А,
что правил восточным базаром,
трапезы не знал,
но был вдохновлен телом,
питаясь идеей всевышней.
Взгляд, утомленный грустным
виденьем тела индея,
на нем отдыхал.
Он призывал не в себя уходить,
а в пустыню,
чтоб там добывать себе скудную пищу,
у хищных зверей вырывая,
и воду не в реках обильных черпать,
а колодцы в песках вырывая.
Под солнцем палящим часами стоял,
отводя виноградные кисти,
и базар умолкал, потрясенный
внезапным сознанием
истин.

Дулат приволок обоих
и бросил их под ноги хану.
Мученики поднимались
и чаши с вином не взяли.
Темнеет в фиалах чай,
шипит молоко кобылье,
на плоских каменных блюдах
финики и миндаль.
Навес на столбах давал
квадратную тень,
в квадрате
на темном ковре восседал он.
А мученики на солнце
в пыли по колена стояли...
— Войдите в тень, эй, мудрые.
Плодов земли отведав,
во мрак
зарю утренней
внесите свет ответов.
О высшие создания,
советуйте — что делать?
Жрецы Базаров —
знания
великие пределы.
Я раньше брал советы,
теперь их покупаю,
я золотым обедом
умнейших угощаю,
под небом рта пусть реют
крылатые слова,
мои ладони греет
алмазная халва.
Закон: на ханском тое
любой, кто запоем,
за слово золотое
ртом золото берет

и унесет с собою,
что поместилось в рот.
На этом ярком блюде
не финик и миндаль,
глядите шире, люди,—
здесь слитки и янтарь,
найдутся в этом плове
алмазы и рубин.
Ну, золотое слово,
исторгнись из глубин!

VI

Хан хриплым шепотом назвал тему.
Дулат отвернулся.
Стража, опустив распаренные ноги в живой
холод ручья,
потягивала кумыс и негромко
переговаривалась.
Индей впал в задумчивость.
Он уже, по обыкновению, не замечал,
как руки его обвивают
ползучие растения, а вокруг
ног вырастают муравейники.
Он на глазах ушел от чувств,
впал в совершенство,
не стройностью телес,
а красотой морали
он истязал взгляд стражи,
опустившей
оцепенело
чаши с кумысом.
В не знающую времени свободу
всецело погрузясь, А-брахм думал
о бренности людских существований,
о мелочности чувственных желаний,
и о ничтожестве своего рта.

Он сожалел, что ум не развивает,
на превращает полость рта в пещеру,
что он извел стоическим молчаньем
за долгие года немых стояний
свой бедный рот,
в котором редкий гость —
сухая корка,
тесен,
словно джунгли,
туда и палец не засунешь тонкий,
не то что полную
алмазов горсть.
О нищий рот, покрытый паутиной,
не то, что иссушающая пасть
пустынного пророка-иудея.
А иудей стоял и закипал
и щупал языком сухое нёбо,
нависшее, как
костяная туча,
язык ворочался в щели и мучал
такими мыслями святого Брахм-А:
«Несправедлив единый бог!
Глаз мал,
но он вмещает целый мир, шакал!
узорчато сверкающее блюдо,
громадного индея и верблюдов,
сосущих мед у яркого ручья.
И слуху дал вместилище такое,
что помещает
дальний звон металла,
плеск, шорох струй
и хлюпанье ослов,
сосущих мед у громкого ручья,
и скрежет
дум индейского столпа,
неизбранного богом и людьми.

О бог единый, слух и глаз
возьми,
но дай мне пасть, не крокодилью,
боже,
не львиную,
пожалуйста, побольше,
такую, как у этого индея.
Я бросил бы ужасную затею
торчать в жару на площадях
базарных,
и звать в пустыни гнусные
бездарных
торговцев снедью.
Я купил бы сад,
растил детей —
счастливых иудеев,
не презирал бы я ни скифов,
ни индеев,
сидел бы, ноги окунув в ручей,
и пил бы мед
твоих пустых речей.
О бог единый,
сделай меня добрым».
...И крылья изо ртов рванулись
двух.
в зубах застряли,
вышел только дух,
напрасно хан свой слух
напряг, как лук,
стрела вниманья поразила
пух.
Поднялся хан.
— Дулат, насыть их взор,
слух, память и мечтанья
этим звоном.
Пусть жрут,

подавятся жрецы.

Эй, вон их!

Мудрец, не давший драгоценность, —
вор!

Уйдите

в мысли!..

В защиту мудрых Ничтожный пишуший скажет
несколько слов:

Нет выгоды поэтам,
философам, жрецам!

Мы даром проливаем
на состязаньях пот.

Увы,

слова огромны,
да не огромен рот.

Но хуже

(это чаще!),

когда — наоборот.

VII

Молчанье его окружало,

ему угрожало молчанье.

Хан слушать его не хотел
(мы имеем в виду Дулата).

Он слушать их не хотел —

свою коренастую стражу,

а воины пели негромкими голосами:

Власти мудрых не бойся,

бойся власти мужчин.

Лик,

исшрамленный

в войнах,

не боится морщин.

Разве женщины любят

нас

за гладкость чела?

И волна волосни
нам на плечи легла.
Шлем широкий
бросает тень
на лицо мое,
а в могучей руке
ужасающее копье.
Мы съедаем барана за раз,
если надо,— быка,
не боимся ни вшей,
ни зараз,
лишь бы целы бока,
лишь бы рука сильна,
как
кобылья нога,
лишь бы глаза остры,
как кинжал у сестры,
у которой от Иртыша до Евфрата
нет брата,
отца и мужа,
кроме булата.
Лица у нас безбородые,
как у скопцов,
мы в страсти превосходили
горбатых верблюжьих самцов,
вечные беглецы,
мы бежим от судьбы,
гоня перед собой
стада смятенных баб,
усатых, бородатых.
Мы зачаты на Иртыше,
рождены на Дону,
мы не помним, где родина,
знаем только эту войну,
бесконечное совокупление света и тьмы,
но это не главное,

ибо —
коренасты сложением мы,
правосудием славны.
Молчание мудрых его окружало.
Протяжные песни ему угрожали.

VIII

Ударами плети коня веселил.
В персидском квартале
над пропастью жил
старик одинокий, копал в огороде
колодец, чтоб видеть светила.
Короче:
слепого наблюдателя светил
хан посетил.
— Я слышал, перс,
хоть стар ты и горбат,
любвным опытом весьма богат.
Поведай мне секрет соблазна,
перс,
мир содрогнется до седых небес
от щедрости моей,
признайся, перс!
...А перса разобрал радикулит,
он поклонился и не разогнулся.
Так и стоит (преданье говорит)
на месте до сих пор,
не пошатнулся.
Молчит проклятый!
По этому поводу Ничтожный пишуший сочинил
стих:
Я понял истину, которую желал
ему открыть согбенный перс:
«Мужайся!
О покоритель женщин, унижайся!
И будет мускус у тебя и лал.

Порой набор красивых слабых слов
с любого тела может снять покров.
Газелью покоряли даже львицу,
словами поклонись —
и покорится!
Кто поклонился раз,
тот не горбат.
.....
Какую тайну бережет Дулат?

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

*Посмотри, много ль
в небе осталось
холодных звезд*

I

Дулат.

О хан, войско разленилось в городах
и погрязло в разврате и восхищении.
Ишпака, ты заставил волков жить
мирно в овчарнях, и сытые волки
стали подражать повадкам травоядных.
Они едят хлеб и срывают плоды
с деревьев. Они уже копаются в
земле и начинают сеять просо.
Жнецы превращаются в пахарей.
Ишпака, нам пора,
наши кости ослабли от сладостей,
наше мясо размякло от ласк,
наши души померкли от радости,
дай нам пищу собак,
брось нас в горла ущелий,

много стран терпеливо тоскуют
по нашим рукам.
Они ждут.
Наши кони давно не топтали посевов,
поведи нас туда,
где лучи заиграют на лезвиях,
там полезней трава для коней,
в ней избыток магнeзии.
Ждет свободная Ливия,
ждут эфиопы Напаты,
серебро накопилось в Сирии
для платы,
фригийские жены
жирные, как акриды^[55],
готовые лечь на блюдо,
бедрa и груди их,
как лица блудниц, открыты.
Если ты спросишь меня —
выбор твой не одобрен.
мы исходили круг
и не нашли Того,
этот путь утомляет
и никуда не ведет...

Что хотел сказать Дулат?
О походе в страну Ашшура скифские
писцы писали: «Ишпака
из Ашшура 8970 юношей увел,
15323 юных пленницы увел. Некоторых
убил, других живыми увел.
16529 коров увел и одного быка увел...»
Что хотел сказать неизвестный писец?

II

...Вот Ишпака уже шел через оливковую

рощу, он вернулся к могиле Перса...
— Уйди, Дулат, оставь.
Нас будет двое —
я разбужу персидского героя.
Я вижу, он стоит
в тени олив, светлея.
Совет мне нужен,
выходи смелее,
восстань, великий дух,
войди в мой слух,
я буду внимать, Перс,
благоговя.

III
— Потревожен, восстану...
Моря переходят в пустыни...
Только с камня сойди,
сядь в тени...
Горы падают в пропасть...
Чего тебе надо?
И степи торчком восстают...
Я борюсь с дремотой.
— погоди, аруах! Я не знаю,
с чего; начать...
Я хожу по притонам и
пью вино ярости.
Мне жрецы объявили войну
тишины.
Я учился читать их молчанье.
Ты не слышал — вчера хохотала
площадь!
И потом замолчала.
Оправдай меня, Перс!..
Они хохотали, глумясь
над природой вещей.
Они часто, выходят, жрецы,

на помост,
и руками, ногами, лицом и
всем телом, однако,
изображают буквы письма ассирийского
или иного,
но все, кто приходит на площадь
смеяться, читают движенья
жреца, как таблицу писца,
одобряя.

А я приходил и стоял, укрывая
лицо, и качался с толпой,
и, казалось, сливался с телами,
и душа моя сплавилась с грязными
душами их.

Ты, наварное, чуешь, о Дух,
от души моей потом разит
ассирийским.

Извивается жрец, на помосте
мне видится море,
луна над волной
и лицо финикийца тонущего...

То коня он опишет пальцами
и глазами,

то коня и себя на нем,
молодую траву

под конем ,

то неслышно поет
колебаньями рук
и ногами.

Но вот вчера я понял,
что хохот мне мешает,
врывается, грызет мое сознание,
он становился громче
и ужасней,
обрушивался хохот
на меня.

Я понял вдруг:
Жрец притворялся мной.
...Актёр на мерине
изображал
глупца
и песню строил голосом
скопца.
Я прямо говорю—
я за искусство.
Но разве можно искажать
ишкуза?..
...Вообразил актёр,
что наказал
его ишкуз.
Хромал несчастный жрец
и зрителям свой иссеченный зад,
спустив штаны,
показывал,
скотина.
И снова ржали люди над
вождем,
жрец тот был в одеянии моем.
А я стоял в толпе и был, как червь,
голый.

Дух.

А позже жрец изображал
свой труп,
и это ему лучше удавалось...
Я знаю все.
Жрец не был виноват,
он рисовал классическую битву
Ашшура с вавилонским
Бел-Мардуком.
Но ты не понял сказки,
и Дулат

пронзил его стрелой из
костяного лука.
И жрец его не понял
и упал,
забился на помосте,
хохотала
толпа, все понимая
из того,
что он изображал в предсмертных
муках.
Казалось ей — он рисовал
Мардука,
ужаленного молнией Ашшуры,
и замер он в веселой позе
Ану...
Зачем ты рассказал мне,
Ишпака,
то, что тебя уже не волновало?
Что привело тебя
к чужому аруаху?
Ты хочешь слушать откровенья?
Слушай.

IV

Дух.

Пес норовит ухватить
указующий
перст.
Перси грызет он,
дающие молоко,
пес этот — перс,
и запомнить его легко.
Если увидишь, старайся,
чтоб он не забыл,
что ты барс вдохновенный,
а он пес.

— Я тебя не понимаю, перс!
— Продолжаю тогда.
Если двуногий смотрит,
когда ты на него не смотришь,
знай — у него болит голова.
Если, собрав толпу на базаре,
кричит он громче твоих глашатаев
и тычет в стороны пальцами
с черной землей под ногтями,
знай — у него болит голова,
ему хочется лечь.
А голову лечит только меч.
Руби ему череп до самых плеч.
Это мои слова.
— Аруах, пронзи меня тупым — я ничего
не понимаю.
— Когда молчат живые,
говорят Духи.
Ты всегда понимал Одно,
а сегодня твое Одно
затерялось в полчищах Многoго,
не отрицай толпу во имя Одного,
и станешь духом,
и поймешь все,
ибо все есть Дух.
И поймешь персов, каковыми
вы называете весь мир, кроме себя.
У персов есть и мудрость и злонравие,
начала сочинений и венцы.
У вас же есть Закон.
У парсов есть жемчужина души.
У вас же — панцирь.
У персов дно и бездна высоты,
у вас губительное плоскогорье.
Вот что такое перс
и что такое — ты.

Я духом стал давно,
еще при жизни...

У

Д у х .

Ты это хотел узнать? Узнай.
Не могу похвалиться
ни знатностью рода,
ни прочим,
я доил кобылиц,
тронов царских никто не пророчил,
но случилось однажды
(я думал, что это беда),
налетели,
связали
и привезли сюда.
Это было в апреле,
два солнца стояло на небе,
на базаре — жара,
у хозяев торговля не шла.
Ты прости, Ишпака,
я пока говорю не по теме,
тем не менее, так —
меня продали, как осла.
Наковали на ноги путы.
Как знак алиф.
Я полжизни измерил,
но верил в судьбу свою, верил,
ибо видел на небе однажды
я символ Венеры —
два сияющих круга
над купами пыльных олив.
Зреть Венеру достоин каждый,
но знак ее
не доступен любым,
он прекрасней

ночной звезды,
если вещь непонятна,
чтобы познать ее,
должен сущность ее отвлеченную
ведать
ты,
...Я возделывал почву,
старался работать азартно,
рыл арыки,
валился в солому
и видел во сне —
восходили два солнца
на медленном небе базарном.
И однажды —
мы в город пошли,
дело было к весне.

VI

— Ты что-нибудь понял, Ишпака?
— Я понял, что ты с хозяином пошел в
город. Не в Ниневию?
— В Харран. Но разве это важно!
— В Харран мы ворвались в разлив
Тигра. Наши кони шли по брюха
в воде. И дома никак не хотели
гореть...
— Мой хозяин на празднике Шамаша
выпил сикеры.
Пропил все, что возможно, —
осла и мешок ячменя,
продал бороду красную
и на восходе Венеры
пьяной даме за перстень
отчаянно отдал меня.
Снял рваньё с моих плеч,
с сожалением пнул

на прощанье.
Мы расстались, как люди,
я помню его до сих пор...
И за дамой пошел,
красоты она необычайной,
ай, как кожа
сквозь ткани мерцала!
...Мы входим во двор.
На траве у бассейна
джейран одинокий
пасется.
В том бассейне
веселые люди меня искупали,
и маслами натерли,
и спать уложили под пальмой...
Я уснул и увидел во сне
И очнулся,
и солнца не гасли.
А солнца — в ресницах.
Я подумал — ужасно!
Ну, надо ж такому присниться!
...До утра просыпаться
глаза ее не давали,
до утра мои губы
ланиты ее целовали.
Так лежали рыбины
на илистом дне озер.
Так врывались в глубины ее соколиные очи.-
И сияли рубины улыбок,
скрывая позор
обнаженного сна
от внимания солнечной ночи.
Как молчала она,
отдаваясь!—
сводило мослы.
Попугаи на пальме кричали,

встречая два солнца.
Это были не дни
и не годы —
дрожащие сны,
Ишпака, тебе снилось —
джейран одинокий пасется?

VII

— Продолжай!
— Расскажу про Шамхат.
Я бывал в ее сладостных думах:
«Ах, уйти бы в набег
и вернуться с победой в хурджумах!
Привести на аркане
раскосого дикаря
и ночами,
во сне,
превращать его страстью
в царя.
Сколько жалких рабов
она в гордых мужей
превращала,
возвращала им все, что потеряно,
сны возвращала.
О, ее красота отдавалась
сутулым и старым!
Только данью она не была,
красота,
только — даром!
В этом знойном саду
красота нас обоих ждала,
а вернее —
явилась она!
Мне — в сверкающем царском обличье,
тебе — в образе девки,
и каждому радость дала.

Тебе — радость раба,
мне — тревожное счастье величья.
Не гневись, согласись,
что любовь —
наслаждение нищих,
их свобода она и пища.
Был я эльфом презренным,
стал альпом великим,
достойным
принять смерть от ножа своего,
я прошел оба круга.
Завидуй».
— Грязный аруах!.. Дулат, где ты,
проклятый палач!..

VIII

Дух.

Позавидуешь персу.
Могилу твою не узнают —
покровителей мира
в забытых местах зарывают,
разровняют, прогонят стадо,
травой засеют,
чтоб никто не узнал,
не посмел.
— Аруах!..
— Не посмеют.
И никто
не придет,
не навалится плачем на камень,
не коснется гранита
палящим бедром,
ногами
и губами горькими,
мокрыми, словно перец.
Не шепнет твое имя,

щекою шершавой, как персик,
не согреет слезы
и не вскрикнет...
— Исчадие перса!..
— И не стиснет молочные железы,
ассирийские перси!
Предрекаю тебе, Ишпака,—
позавидуешь персу...

.
Ты не понял движений жреца.
Моих знаков не понял.
В тебе знание символов скифских,
ты их отвергаешь.
Тебе кажется странным —
мир чуждыми знаками
полон,
и ты, покоритель,
бессилен их тронуть руками!
Но ты ведь — ничтожество,
ты покоряешь вещи.
Их вечная сущность, увы,
за пределами силы.
Тебе не понять, почему
знак крови багровой —
синий?
Тебе непонятно,
что сам ты —
какого-то чуда
символ.
И тот, кто тебя узнает,
уверен — познает чудо.

IX
Ты шуток не понимаешь,
а хохот —
предвиденье шуток.

Спасибо,
недаром проснулся,
отдал тебе сон и два солнца.
Заткни все отверстия тела,
увидишь, как луч окунулся
в бассейн,
и трава не гнется,
а между стволов травинных
джейран одинокий пасется...
Но чем он питается, если
трава достигает солнца?..

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

*... увидеть мир таким,
каким он уже не будет...*

И
«Плечом к плечу с друзьями!
Мечом к мечу с врагами!

Нет крыши, кроме тени,
язык во рту — заноза,
вырви его, Тенгри^[56],
дай слух —
язык не нужен.
Плясали в реве копий
под музыку мечей
стремительные кони
на празднике войны!
Стелились в ноги ткани
дымящихся ночей —
плечом к плечу с друзьями,

мечом к мечу с врагами,
хан Ишпака, ты чей?»

Сознание,
сознание толкало его в грудь,
но ветер, дувший в спину,
не дал ему свернуть,
твердил он: «Помню, помню!..»
А голоса поют.

«Зовут меня на подвиг,
а в рабство отдают...»
И голоса умолкли,
когда вошел он в мир
ее прохладной мохли,
увидел —
пир.

О нет, не ошибаюсь —
там кубки не гремят,
над горлами сшибаясь,
кинжалы не звенят,
там пьяных не выносят,
виновный не бежит,
тостов не произносят —
она лежит.

II

Она лежала у дальней стены
в полутьме, и одинокая муха,
жужжа, искала паутину в углах.
Жало света (из дырки в крыше) дрожало,
в белеющее бедро вонзенное, и
любому невежде бы показалось — то плоть
излучала сияние в небо.
И сказал он, когда пот жары на челе
стал холодным,
и сказал он, когда очи привыкли к сверканию

тела,
и сказал, задыхаясь от бега,
умевший толпу поднимать смыслом слова.
...Ничего не сказал он.

III

Она спит.
Она смотрит крутыми избытками тела,
молоко выпирает из мяса
двумя кулаками,
он глазами лакал расстоянье
до куполов белых
поперхнулся, моргнул,
о, поверьте, и вы бы лакали.
Он гортань усмирять,
он стеснялся
залаять — неловко!
В этом деле нужна не степная,
иная сноровка,
надо взвыть потихоньку,
как эта зеленая муха,
чтоб жужжаньем звериным не рвать
паутины слуха.
Чтобы жало вонзало
и спать у стены не мешало,
чтобы тело дрожало во сне
и зрачок наслаждало.
Он гортань усмирять оглупевшую
музыкой мысли,
над шершавыми звуками
гневные зубы повисли:
— Кто поклонился раз,
тот не горбат!
Мужское дело мне доверь,
Шамхат.

IV

От слов таких и камень бы проснулся,
а если б не проснулся —

пошатнулся.

Слова срывали кожу, как парчу,
она почувствовала
слов камчу.

Во сне дух расстается с естеством,
совокупляя символ с веществом.

Два лотоса со дна сознания всплыли,
не солнца в лотосах —
миндалины в них были.

И отделились линии письма
от острия калама книгописца.

По телу пробежали тени сна
и унеслись на крыльях.

— Дай напиться!

Это она сказала, показав
рукой пленительной
на чан с водою.

.....

Он зачерпнул, подал, не расплескав,
она пила, как лань
на водопое,
по горлу сладко пробегали
волны,

с другого берега
глядели волки.

Отставив чашу, села поудобней,
укрылась виновато:

— Слушай, воин.

Я знаю, будущее не простит,
но настоящее неумолимо,
дано мне тело
наслаждать других,
но что мне делать,

если нет других!..
Ты бесконечен,
я кратка,
как миг,
ты долговечнее шумерских книг,
зачем горой таблиц, в огне каленых,
над мышью слабой,
о титан, возник.
Из чувств твоих
познаю только
тяжесть,
кто не прочтет, тот
знак не почитает,
слова твои, начертанные, дарят
читающим — века,
невежду — давят,
и отнимают малое, что есть,
о, не гневись,
не угнетай мезью,
поверь, в железных латах
твоя честь,
копье в руках безжалостных
и меч,
а я прикрыта лишь
ладонью чести.
Ужель побед тебе не достает,
склонился мир
нагой перед тобою,
возьми его,
он под твоей стопой,
ты можешь насладить себя любой,
копье твое разить не устает,
мою нору не заслоняй горою.
Оставь мне крохотного права миг
любить того, кто под ударом сник.
Хоть бей по голове таблицами

невежду,
умрет, но не поймет он
смысла книг,
как ни желал бы!..
...Усладить тебя
мечтала б я,
о доля моя злая.
Нам не дано!..
Богов своих любя,
обет последний Шамашу дала я!..

V

— Ты иноверец,— молвила Шемхат,—
ты веришь в Тенгри,
в молнии и Лело,
вот если б
твои книги
поломать...
Тогда б другое дело.
(Обнаглела!..)
Открою шею,
обнажу свой срам...
Верь Шамашу —
и наслаждение дам!
Дыханьем флейту страсти обжигая,
мелодию Иштар тебе сыграю,
рождаясь каждый миг
и умирая,
верь Шамашу, неверный...
Я желаю...
Мир покори — рабыню покори,
я умолкаю в страхе.
Говори!
Не унижай молчаньем,
говори!
Отчего над горлом,

словно волк,
тишина твоя?
О, говори!
Облако над хижинкой, как войлок,
исчерченный орнаментами молний,
это бога Тенгри лик горит,
защити,
сгораю,
говори!

VI

«Ишпака, очнись!
Не совершай поступка,
не искушайся! — голосил в нем Тенгри.—
Дороже бога стала проститутка,
не богом покупай,
бери за деньги.
Я помогал тебе в твоих дерзаннях,
выигрывал любые состязанья,
с врагами Тенгри
ты,
опомнись, воин.
На что тебе!..
Ты большего достоин.
Не богохульствуй,
а возьми, как брал,
распни на ложе жестком,
наслаждайся!
— Ох, помоги мне, Тенгри,
бог и брат...
— Эй, самка, как тебя, Шамхат, отдайся.
Кому сказал!!
...Не слышит глас она,
ничтожное подобие Ишторе,
страсть в веру нас ведет,
гласит История.

Стоит, лучами Шамаша обласкана.
И шевелит она ветвями взглядов,
увешанных плодами обещаний,
упругими плодами обещаний,
налитыми плодами обещаний,
проклятыми плодами обещаний,
кто говорил, что знаки над вещами!..
Безжалостные знаки обещаний,
уверенные знаки обещаний.
Кто говорил, что избежал несчастий,
когда тебе такое обещали!..
Какие праведники избежали
бесчестия,
когда им обещали
на место рая ненависти —
ад
любви Шамхат!..

VII

Ишпака.

Я сломаю
крылья ветру,
если ветер — перс,
я сломаю книги Тенгри,
если Тенгри — перс.
Что мне бог!
Не бог он вовсе,
а пенек в лесу,
даже перса
ему в жертву
я не принесу!
Если Шамаш мне подмога
повалить тебя,
значит, нет сильнее бога
в небе и степях,
преклоню пред ним колено,

испуская вой,
а другое преклоняю,
дева, пред тобой.
В жертву Шамашу верблюдов
белых приношу,
воскуряю в его имя
лен и анашу,
разломаю на пороге
пополам чуряк,
разве Тенгри помешает,
если я — дурак.
Дай
наполню твои груди
жирным молоком!..
— Будь ты проклят,— плюнул Тенгри
из-за облаков.

VIII

... И Шамхат носком коснулась
жертвенной крови,
оглянулась,
улыбнулась
краешком любви
и пошла в святую рощу,
не меняя вид.
Ишпака — за ней,
нагружен
хворостом обид.
«Где твоя бывшая сила,
гордый Ишпака?
Эта баба превратила
хана в ишака,
перс, унылый скотоложец,
обратал ее.
Неужель твой нож короче,
чем его копье?

Этой сладкой ассирийке —
финик и чеснок!
Дай ей поле и арыки,
но лежать у ног!..
Унижаться, унижая
кочевой народ!..
Нашу славу — ей в подметки,
и наоборот.
Добывали славу,
дорожили ею,
баба не жалеет,
я ли пожалею!
Я твой летописец, Ишпака-монарх.
— Что ты понимаешь в женщинах, монах?..
Я сирийцев грозных
страстью изводил,
он входил ребенком,
старцем выходил,
шел, вихляясь, кашлял,
пёрся в никуда.
Так бывало с каждым
раз — и навсегда!
Египтян приволит яростный Дулат,
и не понимает, мой палач и брат,
отвергаю сотни,
уточняю — сто.
Кто мне нужен сёдни?
Спрашиваю:
кто?
Кто мне нужен, знайте,
ныне и всегда —
эта в узком платье!
Отвечайте —
Да!
Запирайте двери,
окна — заволочь!

Занавесьте солнце,
объявляю ночь!
Пусть никто не видит,
как за ней бреду,
не нашел управы,
а на вас найду...

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЯТОЕ

*Над каждым из сущих
зреет в небе звезда...*

И
Она прошла рощу (оливковую),
присела в тени дерева (лаврового),
шелковым рукавом отерла с лица влагу,
это были слезы.
Замкнулся круг и начался второй.
Очертанье ноги проступало
сквозь тонкие ткани,
она гладила камень,
румяна ползли по щекам,
она камень ласкала
палящим бедром,
ногами
и шептала слова,
адресованные векам.
— Конницу в рай не пускают.
Ты будь одинок.
Ты войди в мое лоно,
словно в сады Адама.
Ты с мотыгой войди,
землепашцем,

оставив клинок...
(Хан слабел от ее красоты,
превращаясь в Адама).
Ты взрыхлишь мое черствое чрево
мотыгой своей
и поймешь —
не в горячий песок
семена заборонил,
запрокину лицо,
выгнусь радугой после дождей,
дам потомство обильное,
сильное,
вечное.
Понял?
Она сделала многое —
хан позавидовал камню,
она сделала все,
и никто не завидовал хану,
и сказала она:
— Стань же персом,
возьми его имя,
и я буду с тобою,
как с ним,
Я буду с двоими.

II

Ишпака.

Ну что же, перс,
позавидуй мне,
я не был так радостен на войне.
Тебе привычнее
под конем,
а мне привычнее на коне.
Обрек на удачу меня
мой рок,
я в жизни не ведал таких

морок,
меня, покорителя городов,
Шамхат не пускает
на свой порог.
(Косая челка над узкой щелкой —
надменный вид,
а проще — долго
забытым волком
на небо выть...)
Быть любимой и не любить,
как страшно женщиной в мире быть.
Я в женщинах
воинов слабых знал,
как побежденных, их презирал.
Шамхат, как истина, мне дорога,
я счастлив, перс,—
я нашел
врага.

III

— Высокое веко, крутая бровь,
внутри человека
играет кровь.

.....

Над пропастью тонко
вьется тропа,
это над пастью
бьется губа.

.....

Он понял немногое,
понял он —
в ложе пустое свое влюблен.

.....

Поэту поверишь ли, Суд Великий,—
он меч удержал
и не взял мотыги.

Он чести кочевника не уронил,
поверишь ли,
семя свое сохранил.
Что бога ругал,—
ну а кто не ругает?
В сретениях чувств
не такое бывает.
Ногами не бил,
не касался руками,
а слово
лишь слабого убивает.
Он стыд испытал,
а это важнее.
Молчанье узнал
в искупающем гневе,
он был одинок,
словно перс, в этом
мире,
один на земле он,
как Тенгри на небе.
Перс тайны оставил ему.
И он принял,
он пропасть гортани
не перепрыгнул,
словами гремел,
тишину поражая,
молчанье вселенной его окружало.
Поэту поверишь ли, Суд Великий,
он меч удержал
и не принял мотыги,
начертаны мудрость в нем,
он не понял —
себя не читают
шумерские книги.
Он в зеркале медном искал отраженья.
Оно отразило его

Отреченьем.
Себя не нашедший в горнилах
победы,
быть может, отыщет
в золе поражений...
Но что замышляет коварный
Дулат?

IV
— Полз муравей,
червя влача безумно,
росла трава над муравьем
бесшумно,
незримо миру
распадался камень.
Пророк, тот миг останови руками.
Стой, муравей.
Трава, замри на миг.
Останови
свои метанья, блик,
лишь мысль — червя хвост —
от боли бьется,
уходит время вспять,
что остается?
Хан отдыхал в прохладе тишины:
— Я вижу сон:
земля благоуханна...
Покойна в Дома праха
тень жены,
вдовы двух воинов —
раба и хана...
Я возвращался. Шел сквозь города,
все было так,
как было бы всегда,
не будь того,
чего не должно быть.

Что это значит —
«времени испытать?»
И коброй на хвосте
стоял вопрос,
ответом на него —
другой вопрос.
Уполз в пески вопрос,
упал ответ...
Познав тоски овал
и многогранность бед,
обвал прозрений
и сомнений кактус.
Я наконец спросил себя:
«Ну, как ты?»
И коброй на хвосте стоял вопрос,
ответ спешил,
он, извиваясь, полз
из марева времен,
дополз, устал,
лежал он перед коброй,
сух и прост.

V
...Завшивевшая змеями башня могильника.
Что от ног твоих гладких осталось?
Суставы...
От рук твоих тонких,
крылатых в злости?!
От бедер пьянящих —
берцовые кости.
Горсть позвонков и звенящих ребер —
от гибкого стана...
А где твои лотосы?
А где твои розы,
тугие на ощупь,
куда они делись?—

Осыпались в ночи...
Какое бесцелие нас породило?
К чему ты стремился,
то сникло и сгнило,
зачем предрассудков позорных оковы,
ужели не хватит
позора такого,
которого каждому не избежать!
Мы к свету стремимся,
чтоб тенью лежать,
чем выше растение,
тем тень его дальше.
Не лучше ль упавшими
пальмам рождаться!
Не лучше ли людям по глинам стелиться,
понять кратковременной радости
горе,
у тех, кто не падал,
спокойные лица.
Но те, кто не падал,
не знают покоя.
Они не поймут,
не поверят в такое,
что ты могла
движением бровей
прощать преступника,
казнить народы.
Смеялись поколения червей,
и испарялись почвенные воды,
и разрушались кость твоя и плоть,
и трещины избороздили свод
могильника...
Прощайте, о Шамхат,
вот до чего вас доведет
упрямство...

VI

Ишпака отряхнул со штанов прах
и пошел, волоча за собою
угловатую тень,
солнце билось в оливах,
смеялось, кривлялось, как Тенгри.
«Кто был прав?»

А Шамхат?

Волочилась за ним,
словно белая тень,
по дороге,
сбивая прекрасное мясо колен,
умоляя вернуться!..
(Никак не поймешь этих женщин,
нарушают поступками
стройность трагических песен.
Удивленья достойны
подобные метаморфозы.)
Уходил он, оставив Шамхат
в покоряющей позе...

VII

Ишкузы!

Я поведу вас туда,
где не бывали вы!
Я увлеку вас в рай
сквозь пелену листвы,
вырубим сад Адэм,
вытопчем мед травы.
Я побывал в раю,
и побывайте вы.
Чтоб не слабели те,
кто
сидит на конях,
те, кто из века в век
стражу несет

на краях,
пусть не обманут вас
тайны чужих жрецов,
вещности нет в раю —
понял в конце концов.
Был я сильнее других,
стал красивей других,
стал я мудрей других,
стал ли счастливей их?..

Ему казалось, что он летел в седле,
а он трижды стоял в себе.
Ему казалось,
что он уходил от нее,
но если бы он мог понимать холодным
жреческим разумом,
что начался второй круг проклятия перса,
неотделимый от нижнего...

VIII

О Дулат, человек бессилён
прервать развитие знака,
круг неба нельзя оторвать от звена
Земли,
как Землю со всеми морями,
хребтами, Или,
нельзя оторвать от корней
одинокого Злака.
Угрюмый Дулат из-за дерева вышел:
— Пошли...
Она поднималась,
и плечи ее содрогались.
Дулат с отвращением вывел коня.
и, как труп,
обмотав попоной суконной,
ругаясь,

вскочил на коня
и бросил ее
на круп.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

*Земля — это круг,
перечеркнутый
тонким крестом.
Четыре дуги в центр глядят
с четырех сторон.*

I

Белый Шатер с черным верхом
стоял в раскаленной от зноя степи
в излучине Тигра, близ Харрапы.
Судейский шатер —
шестикрылое гнездо.
Изнутри он устлан круглым
белым ковром ики-из с черным мягким
крестом во всю площадь.
В центре ковра,
скрестив свастикой ноги,
сидел подсудимый.
Ждал судий — старейшин восьми многомужих
уруков,
в тот день
угнетающий зной
делал Белый шатер с черным верхом
единственным местом прохлады.
На дне углубленного Тигра
едва ли приятнее рыбам,

их потные лица не гладит
невидимый ветер
проклятий.
...Они входили, пригнувшись,
садились у стен по кругу,
четыре — слева от торя^[57],
четыре садились справа,
не кланялись скуны^[58] друг другу,
но кланялись молча хану,
прежде чем сесть,
колени скрестив,
и прежде чем сесть,
на колени свои положив
тяжеленные руки,
скуны многомужих уруков
клали перед Ишпакой
имена родов — железные тамги^[59].
Все восемь вождей пришли
простить преступнику восемь
тяжелых его проступков.
Ни у одного урука тамгою не был Щит.
Девятым внесли Его,
старейшего из старейших.
Верховный судья Хор-ахте
обязан был не прощать
девятого преступления.
Оно могло быть и первым,
преступнику не поклонился,
к ногам Ишпака не бросил
угрюмых достоинств своих.
Держал он чашу и меч,
недвижно сидя на торе.

II

Их было восемь судий,

молчавших, словно львы,
их кровь ревела в жилах.
Лишь Хор-ахте мудрейший
спал, смежив веки,
в собственной тени,
и тихо кровь его журчала
в дряблых венах,
напоминая — полдень
и арык.
Но знал хан Ишпака —
он тих,
как тигр в джунглях.
Нога его хрома, но ум проворен.
Глаза его тесны, но лоб просторен.
И стоя перед ним,
любой честнейший воин
считал себя презренным
жалким вором.
Когда глаза он разжимал
со скрипом,
заржавленное веко
дыбил бровью,
преступники валились наземь
с криком,
храбрейшие из них мочились кровью.
О, не встречайтесь с этим взглядом жутким,
сочившимся сквозь дебрь витых морщин,
так ночью на оленя смотрят джунгли,—
все видящий,
незримый миру джин.
...У коновязи всхрапывали кони,
и конь Ишпака был обеспокоен.
Не ел травы густой.
Обеспокоен.

Похрапывал Хор-ахте.
Вопросы задавали скуны.
Был вопрос Тарака,
он испытал:
— Что, светел нынче день?
(Дочь его из молока и меде
пришла на память
и не взволновала.)
— День как день — ответил Ишпака,
он запоминающе вгляделся в скуна —
твердый лоб, уверенные скулы,—
может быть, еще удастся встретиться
в той земле несветлой,
а пока
был вопрос второй,
послушаем его.
— Разве ты не видишь — в небе звезды?
И Луна?
(хотя светило солнце).
— День как день,— ответил хмуро хан,
если вам не нравится светило —
погасите,
это в ваших силах.
Бахус^[60] может вызвать ураган
и задуть огонь,— ответил он —
кто преследует, тот и силен.
(Печень колотилась ему в спину,
Ишпака был сильно разозлен.)
— Солнца луч блистает в небе синем,
страх не помогает
даже сильным,
честь моя,
как вываренный чай,
но и ту придется выручать.
Я сегодня настроением плох,

но я воин,
не возьмешь врасплох
даже ночью,
бей при свете дня,
о судья, испытывай меня!..

IV

Послушаем, что сказал Кыр-куз.

— Прекратим преследование
и предадимся разговору.
Закон Шатра: судья к судье,
вор к вору.
Считаю так:
нас — много, ты — один,
но мы — рабы,
ты все же господин.
За взятку ты рубил
ключицу нам,
мог бросить под коней,
в загоны к львам,
но —
персом стал,
мотыгу в руки взял,
ударил по земле
и так сказал:
огонь костра я запер в печь,
сказал?
пространство стенами огородил,
сказал?
я превратил мотыгу в меч,
сказал?
не Тенгри,
пес меня родил,
сказал?
Ты слышишь, замолкли кони?

Тихо и пусто в степи,
молчит, пристыженная,
словно у всех ишкузов
родились дочери
стриженные!
А города персов сияют,
пляшут огнями,
будто в каждом их доме
жен
наших грубо обняли.
И они отдаются им,
жены наши!
С кого нам спрашивать,
хан великий?
Да, солнце светит
на наш позор,
враг не скрывает свои улыбки.
Хор-ахте всемогущий, я назвал проступки
Ишпака,
Один из них прощаю...

У
И поднял нож вопроса
Ики-пшак.
Его лицо лоснилось смуглой костью
и излучало черное спокойствие.
— Водой речей ответных
не отмоешь
ты имени запятнанного, хан.
Пусть будет чистой
влага омовенья,
но не клянись быть честным до конца.
Закон Шатра известен:
отвергай
все обвиненья,
лги, но защищайся.

Пока ты говоришь —
тебе мы верим.
Разрушь плотину,
пусть бурлит вода.
Мы обвиним тебя за преступленья,
не за слова твои —
ты не поэт.
Мы обвиним тебя не как лесного
зверя,
о нет.
Мечи — у нас,
тебе вручаем щит,
возьми его,
используй свое право
и в океане размышлений плавай,
и пусть не загрязнится водоем.
— Пред вами безупречный
не стоял,
закон Шатра гласит:
хвала — известна,
хула — невидима.
Давайте честно!
Все подвиги мои в ночи
сокрыты,
бесчестье бьет в глаза Суда,
как солнце.

Б а л т а.

— Ты родился мужем —
не ребенком,
не лежал в собольих ты пеленках,
ты из чрева вылез
с грозным кличем,
степняки сказали: «Быть величью».
Не сосал грудь суки,

разгрызал губой,
молоко отдаивал
вместе с кровью,
иноверцев видел
только под собой,
это вдохновляло нас,
не скрою.
Ты слюной в пустынях
жажду утолял.
Пусть же скиснут груди
скифских матерей,
если не додали
то, что не добрал,
ты родился зверем,
стал слабей людей.
Ты владел тяжелым
правом первой ночи!
Свадеб избегаешь
прячешься, как вор,
иль копье погнулось?
Или меч короче?..
Муж народу нужен,
а не вол.
Если обессилен,
то закон всесилен —
мы тебя задушим,
новый бык нам нужен.
Отвечай, не мучай,
Ишпака, будь мужем!..
(Океан раздумий
превратился в лужу.)
Мы тебя спросили:
признаешь бессилье ?
Хор-акте, могучий, мы вину назвали.
Мы ее простили.

VI

Твердокостный Уч-ок,
за силу бедер и редкостное слабоумие
известный книгам под прозвищем
Безголовый, прослышав речь Балты,
пришел в оживание.

Он хватил ладонью по колену,
чем боль себе не мало причинил.

Послушаем, что он сказал,
в речах могучий:

— Пах-пах!

Зловещий зной палит тебя.

Ты сух и тонок,

не терпи,

пожар твой может согреть

невестам лучезарный пах,

одну же

может он спалить,

дай выход скотству,

не терпи.

Я б не хотел на месте быть

той девы робкой,—

не терпи!

(«И я б замены не хотел

такой», — подумал грустно хан)

Не воздержись! Веди нас в бой,

мы ринемся тебе вослед,

на спину глядя, как на свет,

ты знаешь, в битвах я какой!

Спроси жену мою,

она

в меня, как в волка,

влюблена.

Я все простил тебе, о хан.

— Ты можешь лишь одно простить.

Один проступок.

— А какой?

.

«Он восхищен мной,—
мнил Уч-ок
и шевелил волос пучок.—
А может быть, судьбой своей?
А может быть, женой моей?!»
Эй!!

VII

И молчанья толпу
раздвинул плечами
скун рода Тилик.
Показал он, вздохнув,
словно крякнув с досады,
свой острый язык.
— Ты не принял слов дружбы,
не принял пощады,
ты духом велик.
Ты огнем закален,
как страница печальных
наших глиняных книг.
Этот мир завоеван,
но разве лишь в этой
вселенной живем.
Ты уйдешь от нас раньше,
тот мир покоришь,
за тобою пойдем.
В той несветлой земле
снова грозным вождем
мы тебя изберем.
А пока подождем
и рассыплемся просом,
сгнием под дождем,
разбредемся по землям,
по разным дорогам уйдем.

Разберем свои тамги,
народ наш лишится письма.
Что же скажет Хор-ахте?..
...Тот спал, и довольно весьма.
По закону Язу,
не положено судий будить,
если он не проснулся от слов,
знать, слова не важны,
если он не проснулся от воплей ослов,
ослы не нужны,
если тигры его не разбудят,
и они не страшны.
По закону Язу,
отложили на день приговор,
нет решения, значит,
пока ты по-прежнему — вор,
совершай преступления,
завтра — один ответ.
Что свершить?
Посоветуй веселому хану,
поэт.
...Выходили неслышно,
садились на тихих
коней,
разъезжались, копытом
не тронув прибрежных камней
и камчи не подняв,
чтобы ржанием не разбудить,
и тебе, Ишпака,
из шатра опустевшего
надо
уходить.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

I

Хор-ахте грозно спал,
на торе сидя,
с коленей грозди рук свисали мрачно,
с губы его презрительно тянулась
серебряная нить,
как с морды жвачной.

Хан в белый свет двери квадратной
вышел,

и, разминая ноги, подошел
к коню, похлопал по груди
и выше.

Спустился к Тигру.

Заструился шелк
слепащего широкого потока,
как будто ждал его
недвижно, долго.

Хан усмехнулся добро
и похлопал
по ласковой упругой коже:
«Топай!

Спеши, гони свою волну
к Евфрату,
задумчивому илистому брату,
сливайтесь в племя мутное
углом».

Распахнуты врата прекрасной Евы
и города Ашшура, Вавилон
вместились (или вышли!)
в Бабье Лоно.

Лежит Арем, раскинув
ноги рек,
восьмиэтажный столп
вонзился в угол —
лар Аполлона,
(одного из этих пугал

являл ему на Крите
Архий — грек).
Кыр-кузы называли — Аму-дарья,
разбросанные, словно ноги,
воды,
косоги нарекли — Сыир-дарья,
разбросанные, словно роги,
воды.

II

«Теперь я знаю все —
в пустыне горькой
мне нужен виноград,
который давят,
который,
перезрев на солнце ярком,
сознание символов любви
нам дарят.
Спокойствием ума
сейчас обязан
я
виноградным лозам,
тяжелым гроздьям,
ногам лохматым,
что давили их
в корыте каменном,
кричащим сокам,
кувшинам полным, что хранили их,
руке своей,
что подняла высоко
сосуд, налитый
темным знаком солнца,
и горлу остуженному.
За правду!
За то,
что в виноградниках

обильных
мне нужен мрамор
пряный.
Эй, горбатый!
Наполни-ка еще один кувшин».

III

Поэт.

Мой долг напоминать тебе такое,
что, успокоив,
вновь лишит покоя.
Мне отвратителен гранат и
финик липкий —
прекрасен виноград
на лозе гибкой.
На эту тему стих:
«Не будь он так прекрасен,
то вид его в давяльне
под ногами
был бы не так ужасен,
согласитесь.
Все лучшее, что солнцем
создается,
ногам невежды все же
достаётся.
И это некрасиво,
согласитесь».

Ишпака.

Мы с Понта холодного
рвались в Элладу,
нам ветви олив изодрали
халаты,
из дыр виновато
глядела на Грецию
вата.

Врывались, как Ларры,
и землю,
как кожу коровы, распяли,
и били копытами в бубен
Эллады.
Проспали
глухие историки
этот поход знаменитый,
но мы не забыли,
как били по бубну копыта.
Все восемь
великих колена
ударили в камень,
на скалах
тусканы эмблемы свои
высекали,
турканы и турши
сознание оставили там.
Сгибались, как лозы,
колонны
под гроздьями тамг.
...Я чудо увидел,
войдя в один атриум белый,
над ярким бассейном
плясал
не по-зимнему спелый,
весь в трепете света,
янтарный, как брызги Евфрата,
лавиной,
каскадом
кипел над водой виноград.
И я потянулся —
он всех виноградников
стоил,
и я обманулся:
решенье загадки простое —

из мрамора желтого
сделаны лозы и грозди.
А мрамор,
известно любому,
не слаще, чем кости.
Но тот виноград веселился
в ночах моих длинных,
тогда я не понял
великой загадки эллинов:
«Что может прекраснее быть,
чем природа?»
Потом же,
спустя много лет,
отвечаю:
«Прекрасней — подобье».
И спорю:
«Все лучшее, что создается под солнцем,
в сердцах остается,
в ночах наших светит
бессонных».

IV

Поэт.

И прежде ты страстно желал
не ее,
а подобье.
Подобьем ручьев на пустыню
нисходят потопаы.
Звено одинокое
лучше звенящих цепей,
пусть правдоподобие
будет прекраснее
правды.
Бог создал индея Абрахма
подобным себе,
клянусь, тот индей

благороднее бога Абрахма.
Я слышал, несчастный,
по пестрым базарам Арема,
шатается странный торговец
с товаром гаремным,
нет золота ныне такого,
которое стоит
рабыни его смуглотелой,
никто не достоин
купить невеселую гроздь,
она бесподобна.
Брось мертвые знаки,
садись на коня,
здесь недолго.

V

Базар.

...Мощный скиф, расставив ноги,
кричал с помоста:

— Все семь частей ее тела
округлы,

ни вен, ни костей не видно.

Кто мужем ей хочет быть?

Ночами — невинна
к тому же.

Труса героем сделает

в ложе тесном,

скопца — мудрецом,

жреца ассирийского — честным.

К чему беднякам драгоценные
перстни?

Невинна.

Я вижу стада голодных скопцов,

а щедрых купцов

не видно!

(Толпа хохотала до колик, до драки

кольями.)

Певцу выставляю корчагу сикеры,
кто воспоеет золотистые брови,
которые с сердцем героя вровень.
Ну, кто единственный,
а кто — первый?

VI

Взошел на помост бесплечий красавец,
весь рыжий.

С лицом изможденным от боли в паху —
от грыжи.

Держась за больное место двумя руками,
лицом повернулся к восходу
и спел, не лукавя:

«Женился бы пышною свадьбою
хоть на корове,
о, если бы были на ней
золотистые брови».

Скиф добрым пинком проводил скотоложца
с помоста,
ушел он, руками держась
за второе
больное
место.

— Задел он корову святую, скот,
корову, несущую диск в рогах,
это песня врага!

Лучше отдать башмачнику нищему
полный сосуд,
те, кто не любит коров,
пусть!..

Толпа избивала неверного,
рук не хватало
ему за места хвататься,
толпа хохотала.

VII

Башмачник, известный базару
веселым нравом,
отбросив костыль,
сплясал на помосте
на правой,
и, стоя, как аист,
жрал, сунув в сикеру нос,
корчагу, как кость обглодал,
и упал под помост.
Его затолкали пинками
поглубже и стали
глядеть на нее,
других представлений ждали.
Она, вся укрытая
черным сукном
попоны,
торчала на солнце,
дыша лошадиной вонью.
Скиф глянул на север,
рванулся рукой к акинаку.
И —
врезались в гущу толпы
воспаленные кони.
Скиф славно работал —
по битве истосковался,
он сбил одного
и троих,
уклонялся,
смеялся.
Ишкузы жалели его,
не стреляли из луков,
они отошли от помоста,
и он со стуком
вонзил акинак

окровавленный
в доски.
Баста!
— Я знал, Ишпака,
ты настигнешь.
Я сдался. Властвуй.
Хан тронул коня:
— Я ее покупаю. Дулат.
Горсть тенгриев желтых
ударилась под ноги
скифу,
один отскочил от меча,
покатился,
исчез.
Наверное,
в щель закатился,
наверное,
сгинул.
Ее подвели, посадили в седло.
Ишпака
глядел на Дулата с тоскою
собачьей.
— Эй, воин...
Садись на коня,
я прощаю...
Помял ты бока
моим молодцам...
— Ни-че-го, Ишпака,
ты не понял?!

VIII

Дулат.

Глаза мои плачут,
не золото мне было нужно,
убить я ее не могу,
я ведь знал —

ты придешь.
Но слово есть слово,
я клятвою связан ложной,
ее не нарушил,
я верил, что ты поймешь.
Но ты не осел,
ты хуже, отец ишкузов!
Любимый мой друг,
я верен тебе всегда.
Ты звал, и я шел,
истекая,
не зная куда!..
Верни меня в степи родные,
хочу туда,
где солью Балхаш умывал,
где плыл Каратал,
я все эти годы
ночами во снах
умирал
на родине нашей,
я снами
года коротал.
Верни нас домой,
и забудем, что было
тогда!..

.....

Оседала пыль, поднятая умчавшимися конями.
Базар вылез из щелей и, ломаясь, бросился
на пустой помост, где ярче крови желтели
круглые тенгрии.
Под помостом в пыли лежал на спине
одноногий
башмачник, храпел, заливая слюной
подбородок и шею.
Узкая полоса света из щели
рубила лицо,

грохотало над ним деревянное небо.
И светилась в пыльном луче
золотая монета,
прилипшая к грязному поту
между бровей.

РОГА

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

*Это осень, жизнь растений
бедна и печальна...*

...Все было так же. Хор-ахте спал.
Сидели скуны, и каждый ждал,
когда проснется великий Ра,
поднимет чашу и меч
с ковра.
Не дождались —
преступник встал.
— Ишкузы, слушайте
речь вора.

И
Я вас привел сюда. Вспомните:
верблюды ревели. Тугими горбами трясин.
Песчаные вихри в пустынях,
как рощи, росли.
В тени ураганов
на пыльных от ветра конях
все восемь уранов
сквозь вопли нумеров прошли.
Покрытые пылью ударов
бессильных мидян

искали страну легендарную
и не нашли...
Возьмите таблицы
и каждое слово проверьте,
любое созвучье —
сретение жизни и смерти,
молчит верблюжонок,
ревет обезумевший волк,
и каркает птица
над круглым пустеющим полем.
Ишкузы,
откуда приходит в Ассирию осень?
Ответьте,
откуда летят наши бедные гуси?
Они возвратятся весною, озера их спросят,
о чем их весною пытаются озера,
ишкузы?
Озера степные, поросшие мелкой осокой,
глубокие ночью
и плоские в полдень озера.
О ком они спросят,
соленые от позора?
Ответьте, Кос-оги.
Они возвращаются, гуси,
они пролетают
над мрачными спинами
сгорбленных гор Улу-тау,
перо
на скалу опустилось,
растаяли
гуси,
о чем их спросили ущелья?
Ответьте, кыр-гузы!
Там ваша
родина —
красная глина в буранах,

жесткие травы
с шелестом гнутся от ветра,
она не корова —
худая волчица
в бурьянах,
но есть пи прекраснее мать,
чем своя,
ответьте!
Я тысячи копий с седла метнул,
я тысячи стрел в тела окунул,
одну, визжащую,
как ответ,
стрелу мою
с силой в меня вернул
нежданный ветер.
Всего одну...
Там предков могилы,
там Сар-кене
в скалы впечатался на
коне,
вернемся, как гуси,
пока не трудно.
Вернемся, ишкузы,
как пальцы на струны.
Прорвемся,
и нет на земле преград,
которые сдержат
движение назад.
Это не просьба, но повеленье,
силу имеющее. Последнее.

II

Скуны!
Стариком не буду,
раз младенцем не был,
молодым и сильным

я уйду на небо,
я вам предлагаю
так казнить меня —
дайте мне лавину скифов
и огня!
Я пройду сквозь толпы
персов,
как сквозь лес,
затрещат их кости,
как сухие сучья.
Слушайте!
И если прекратится треск,
значит, уничтожено
племя сучье.
Не нравится слово?
Другое услышь —
я введу свое племя,
как пламя в камыш,
города их запляшут
другими огнями,
их дороги, как бабы,
взревут под конями.
Ослепленные челками кони
храпят подо мной.
Ночь сегодня!
Согласен с вами,
значит, утром —
веду вас в бой.
Стук мутовки —
пахтают кумыс,
молодцы доят кобылиц,
Ишпака опять на коне.
перс визжит на моем копье.
Будьте же готовы к славе, люди,
тех, кто скачет с нами,
она любит,

обнимайтесь,
колотитесь лбами,
я вас не прощаю,
но я с вами.

III

Он смотрел не на них,
он смотрел в равнодушное солнце двери,
в громадный квадратный белок,
в котором, словно зрачок кошачий,
чернела стройная
женщина.

Он говорил, глядя в это Око:
— Я принял правду ваших слов,
вы приняли мою.

Не прекратить удары языка
в сухое нёбо.

Вы защищаетесь, я — нападаю.

По закону Язу, хан Уходящий
оставит наследного хана,
все скифы — мои сыновья,
и я выбираю любого
из избранных.

Того, кто быка победит на ристалище
самого злого,

тому я невесту обязан найти.

Вот моя мысль.

А вот мое слово —
войди!

На алой кошме невесты
ее посадите,
и пусть достойный
ее выбирает.

Слабый пусть умирает,
а сильный пусть
остается

и ей достается.
Пусть из рабынь она первая будет
царицей.
Будет!
Она благородна душой и сложением
полным.
Я призываю вас, судьи, свершить
преступление,
которое — подлость,
в сравнение с моим унижением,
но когда доброта обесценена,
грех — это подвиг.
Уйди!

IV
Он замолк. Опустело Око.
Оглянулся.
Взгляд его увяз в морщинах
лица Хор-ахте,
он рванулся.
И все посмотрели туда же.
На высоком торе,
облитом черным ковром,
неподвижен, как лень,
старейший Хор-ахте
второй день
сидел, погружен
в омут раздумий.
Глаза его не открылись ни разу.
Но губы его шевелились. Он пел.
И чаша в руке
проливала дрожащую
воду воспоминаний.
...Он забыл ее, очень давно это было.
У Нила.
Пили кони медлительную воду

разлива.
Олива...
И на зеркале вод возникали
воронки дыханья.
Он был Ханом.
Уносилось в рога океана багровое
солнце.
Весомо.
И она, чья спина трепетала
под взглядом его,
уносила под ребрами
сладкое чадо его.

У
Пел старик о зеленой тростинке,
пел, седой, развивая жилы,
его голос высокий качался,
как цветок
на старой могиле.
Он забыл то лицо и талию,
как ее обнимал
и так далее,
только голос
уныло помнил
до деталей
веселую полночь.
Как собаки тогда брехали!..
Ишаки, гогоча, брыкались,
и сухая трава под телами
извивалась
и вырывалась...
Не забылось...
Завылось...
Дрогнуло...
Сердце вора шершавым тронуло,
Ишпака, потерявшись от жалости,

раздирал свои губы сжатые.
Думал, всхлипывая: Хор-ахте,
что ты делаешь, вран порхатый!
Лучше б каркал, вгрызаясь в падаль,
лучше б с торя на жертву
падал,
погружал свои когти
в печень,
не до песен мне...

VI

...волк, воющий над вялой розой.
Смеются жертвы — поздно!
Может, рано?
Пой, не стесняйся,
вой, мой глупый воин,
пусть улыбнутся умные бараны.
Достоинство —
в бою забыть себя
и поразиться вражескому горю.
Чем я могу помочь тебе,
судья,
я, так недавно видевший
нагою
свою судьбу?
Судью не успокою.
Кричи!
Героев множество воспето,
умеющих сражаться
и сражать,
но есть ли женщины,
достойные разжать
клинками красоты
уста седых поэтов?
Кричи!
...Он плыл в воспоминаньях,

он был
с той дивной, робкой
дочерью Коровьей.
Он засудил.
И глаза не открыл.
Но твердокостный Уч-ок, наводящий ужас
на врагов,
на всякий случай
помочился кровью.

У
По закону Язу,
если судья запел,
никто не мешать не обязан.
Закон Сар-Кене
любое предусмотрел,
ибо всякий закон
правителю
богом подсказан.
И скуны кивнули:
1) вернуться на землю свою.
И скуны кивнули:
2) казнить Ишпака в бою.
И скуны кивнули:
3) пусть нового хана назначит.
Плечами пожали:
4) ну и рабыню, значит...
Разобрали свои тамги и вышли.
Расставляя ноги, подался в степь Уч-ок,
забыв второпях
одну стрелу из трех. Ее подобрал Кос-ок.
Хор-ахте^[61] пел, уже раскачиваясь. Никто
не понимал.
Он пел на древнеегипетском.

РИСТАЛИЩЕ

Ишпака велел свалить лучших жеребцов,
верблюдов и баранов
из своих стад.
Выдоить целое озеро кумыса
из своих кобылиц.
Наполнить кирпичные чаны ассирийским
вином
из кувшинов своих.
В этот день
голодного поймашь —
накорми,
а голого увидишь — разодень.
Отряды ловят на дорогах нищих.
Купцов, послов, лазутчиков и прочих
арканами хватают и ведут
к ристалищу и у костров сажают
на шелковых коврах и угощают.
И пусть не скажут, что последний пир
Ишпака
скудным был, игрище — скучным.
На холмах, окружающих долину,
в тени деревьев раскидистых сидели
ишкузы и с подносов мясо ели,
куски макая в чашу с жидкой солью,
окрашенной зеленым чесноком
и красным перцем.
И ели так, чтобы баран вставал
на все четыре лапы в тесном чреве.
Тогда его топили в кумысе...
Бросали жребий все вожди уруков.
Кость пала белой стороной двоим.
Те двое молча обнялись и снова
швырнули кости.

Вскрикнул Ики-пшах!
И сел Косог на место побежденным.
Скун Таг-арты, вождь рода Ики-пшак,
который без щитов в толпу врывался,
не дав врагам пересчитать друг друга,
поднялся во весь рост
и крикнул сына.
Взревели ики-пшаки на холмах
и вмиг сады угрюмые срубили,
чтоб видеть не мешали им арену.
Бежал он, раздеваясь на ходу,
остался в кожаной короткой юбке.
И добежал
и радостно дышал,
лицо его волнением сияло,
жемчужина, что не имеет ценности,
пока она на дне
в зеленом панцире.
Но если вдруг найдут ее,
и выйдет
и явится глазам —
ей нет цены!
— О скун-торе,— промолвил Таг-арты,—
благослови на подвиг Безымянного,
не проливал он молока старух
и по лицу не бил седобородых.
Он хочет имя мужа получить
и стать отцом великого народа.
Позволь ему...
Хан Ишпака кивнул
и поднял красный плат,
чтоб выводили
Быка.

II

Держали с двух сторон

на бронзовой цепи
три скифа справа
и четыре слева.
Дойдя до середины, они разом
с рогов сорвали цепи,
разбежались.
Бык не догнал,
стал у скалы,
послушать,
о чем кричит
мальчишка безымянный
на сером камне,
голос возвышая,
размахивая родовым оружием.
— Я сделаю тебя коровой,
бык,
перечеркну рога твои мечом,
священный враг.
О, ты еще силен?
Когда ты ударяешь рогом в камень,
из камня серого, как из мешка,
на землю сыплется мука,
о бык.
Мальчишка прыгнул со скалы,
на спину
быка,
ударил по бедру —
и прыгнул
в песок ристалища,
вскочил и прямо,
клянусь,
как лев рогатый,
прыгнул бык.
— У! — взвыли ики-пшаки.
Увернулся.
— И! — раздалось с холмов.

Он улыбнулся.
И поднял нож
и обманул быка.
Он не вонзил в загривок,
издевался,
плашмя прижав к рогам,
он упирался
спиной вперед перед быком он ехал,
урук, его подбадривая, ухал.
Рога с мечом соединились:
— Уй!
Бык двигался, набычившись,
как пахарь,
мальчишка пятками песок пахал,
он оставлял
две борозды глубокие
и потом крупным сеял. Он устал.
Но не сдавался,
не ломал спины,
весь устремлен вперед, хоть двигался назад,
а бык не отвлекался —
пер к скале.
Разноязыкая толпа шпионов,
послов, купцов и нищих
надрывалась
при виде перечеркнутых рогов.
Вопили галлы:
— Ви!
Им вторили арамы:
— Аль-ви!
— Хо-ви! — собачились эллины.
Надсаживался кто-то:
— Ви-та! Ви-та!^[62]
...Вино потягивая, ждал Косог,
когда припрет соперника спиной к скале

священный враг.
...И сломаются руки,
не выдержав тяжести мощи быка,
меч вдавится плоскостью в грудь,
сокрушая ребра,
и за ним
в кровавое месиво
влезут рога.
— У! — оседала толпа.
Таг-арта посерел, как скала.
Оборвал до плеча рукава.
Замер в безмолвном крике.
Бык возвращался, стряхивая с рогов
розовые кишки
Безымянного мальчика.
И две борозды обнюхивал,
вздыхал песок дыханьем.

III
Скун Арт-ага,
чей род вдохновенный Косог,
просивших пощады не сек,
бежавших домой не рубил,
поставил пустую чашу у ног,
встал и приблизился к хану,
ладони крестом на груди
сложив.
— О Скун-торе Уходящий.
Благослови сына моей женщины
безымянного Кози Кормеша на великую
смерть.
Да пусть из спины его выйдут
два острых ножа бычьих.
Да будет он жертвой тебе,
о Бык Уходящий.
Кивнул Ишпака не глядя.

...Косог Безымянный остался в кожаной юбке и в куртке с короткими рукавами. Широкие плечи его ушей не касались. Он был не жемчужиной нежной, он панцирем был зеленым. Жемчужина украшала багровыми пятками камень.

Косог со скалы обращался, и крик его был негромким: — Я сделано тебя коровой, бык.

В рога твои я вдену красный щит. Я вышибу багровый диск копьем, нож погружу между рогов опасных.

Белел песок арены, бык чернел, к скале не шел боялся вида крови.

Сходило солнце между двух холмов, как бы в рога багровый диск садился.

Под крики обнадеженных кос-огов широкоплечий юноша спускался, тупым копьем в щит красный колотя. Бык не бросался.

Он сопел и ждал, когда закончатся его мученья. Придут, наденут цепи, уведут. Заходит солнце, время водопоя... Косог швырнул ногой в глаза песок,

взмахнул щитом и вдел его в рога.
Ослепший бык тряс головой,
метался.
Холмы ревели, заходясь:
— Корова!
Следил Кози Кормеш
и поудобней
копье в ладонь укладывал.
Бык бился.
Щит его мучал, как осколок кости,
в зубах застрявший, он ревел протяжно,
глазами бил о лапы,
плакал бык.
(И слезы прятал Ишпака,
ослаб он.)
Копье, ни разу воздуха не клюнув,
как лебедь над водой,
шло над ареной,
ударило,
и выпал круглый щит.
Косог в прыжке,
не дав быку понять,
проник клинком крестообразным
в шею,
между рогов
всей тяжестью повис
на рукояти,
в мясо погружая,
холодной бронзой сердце
остужая...
Колени подломились у быка,
кровь хлынула из носа,
и рога
в песок вонзились.
— Ту!— холмы взлетели.
И солнце скрылось,

и на темном небе
возникла ярко новая звезда.

IV

Косог, шатаясь, встал,
пошел к щиту,
поднял,
к быку лежащему вернулся,
присел и вырвал
длинный нож
с фонтаном.
Глаза быку обмыл горстями крови.
В четыре взмаха голову отсек.
И на щите нес голову и гнулся,
так тяжела была та голова.
Косоги пели, стоя на холмах,
молчали ики-пшаки, восседая
на срубленных оливах,
Таг-арта
шел от скалы,
за ним тащилась женщина,
хватая руки мертвые,
свисавшие
с плеча неутомимого вождя.

V

Косоги разжигали на арене
костер.
За хвост
быка к огню тащили,
острили ствол оливы
и совали под хвост быку,
распарывали брюхо...
Он поднимался к Красному навесу.
Щит с головой сложил к ногам невесты,
стал на колени, тяжело дышал,

гул бычьей крови
восставал в ушах.
...В крови четвертый палец
окунула
и красное поставила пятно
между бровей своих...
А он сказал.
— Отныне ты, Шамхат, моя корова,
несущая цвет солнца меж рогов,
начертанных богами на лице
твоём
опущенном.

Он задыхался.
Устал он, поднимаясь по холму.
— Отныне бык ты мой,—
она сказала.—
Я жду тебя в шатре,
мой муж рогатый.
Иди за титулом,—
она сказала,—
ты беден именем,
а я богата.
...Теперь не голос,
тело все дрожало,
когда он нес тяжелый щит с рогами
к навесу голубому. Он боялся —
Преступник шел к Преступнику
за славой.
Он подошел и положил поднос
к ногам
своим.
Приблизился, склонился,
поцеловал плечо и руку.
Сказал:
— Ушедший хан. Я победил.

Твой бык был поражен
моим стараньем.
Признай. Надень достоинства быка
на голову мою
и дай мне имя.

Хан долго поглядел в его глаза,
укрытые броней ресниц,
сказал он:
— Ты был неправ. Но ты его свалил.
Он снял с себя тяжелый шлем с рогами,
косог пал на колени.
— Заслужил.
Когда-то брал его у Хор-ахте...
Он так же не хотел, но я хотел...
Возьми рога и титул
Пер-Им-Торе.
А имя твоё будет
Арты-ту.
С колен своих меча он поднял тяжесть.
— Ты поведешь мою орду к восходу,
когда я в битве первой упаду.
Он палец обмакнул в крови быка
и красный крест между
своих бровей
провел.
И приказал вождям уруков:
— На символе вселенной поднимите,
пусть Тенгри-хан
усыновит его.
Вожди подняли белую кошму,
косог на ней лежал,
дышал от счастья.

VI

«Пусть то, что ты делаешь ныне,

смешно и постыдно,
но если великая страсть —
украшение чувства,
тебя захватила и бродит,
как вихрь в пустыне,
и если сегодня ты счастлив,
то завтра — искусство.
Всю силу, все солнца —
в сегодня,
ведь завтра не будут
все праздники жизни отпущенной
сразу — без буден,
судьба одноцветная —
это кошма без узора,
ты высшую храбрость познал —
не бояться позора».

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

По жребию ее одели в одежду женщин рода
ики-пшак.
Толпа вождей по холму поднималась к белой
юрте,
там ждет Корова Нового Быка,
И сказал юный косог,
горя предвкушением одиночества
брачного,
послушаем, что он сказал у порога,
счастливый:
— Предложь, Ушедший Хан,
ей наказание,
слова твои да будут
прорицаньем,
она готова свет любой принять,

не оскорбляя блеском отрицанья.

II

...Великолепны были эти бусы
из темного с прожилками агата,
непосвященному могло казаться —
то круглые глаза слепых красавцев,
любимых смертью
юношей Арраты,
нанизанные на витую нить,
зловеще ее горло украшали,
но ядра бадахшанской бирюзы
в праче серег серебряных
прощали
того, кого не стоило
винить.

Движенья — украшение души,
едва заметные,
подчинены дыханью,
невидимы,
как ветра колыханья,
что охлаждает щеки, возбуждая
воображенье будущего хана.

Спокойный взгляд
из-под густых ресниц
способен был дробить
скалу гранита,

Алку грудную густо усыпали
граненые крупы лазурита,
лучи ломались —
грудь ее дышала.

«В пустыне жаркой
молятся не Солнцу,
подобно его —
луне угрюмой,
в пустыне снежной

молят не луну,
подобие ее
нас наслаждает.
Все будет снова»,—
думал Ишпака,—
«Кем родилась?
наложницей?
жена ли?»
Запястья стройные
(нежна ль рука?)
браслеты из сердолика
сжимали.
Был бронзовыми убран зеркалами
широкий пояс,
облегчавший грудь,
и два ножа,
сходящихся углами,
не позволяли глубоко вздохнуть.
На рукояти выдавлено слово —
«Невинность»,
на другом ноже —
«Вина».
Таила блеск в футлярах тростниковых
среди мирных драгоценностей
война.
О, ярче золота и минерала,
когда придет пора,
сверкнут клинки!..
Всех украшений
стоит блеск кинжала,
когда он — продолжение руки
такой, как эта...
«Не повторить тебя,
ты совершенна.
О, если б хоть один изъян увидел,
я жизнь бы сохранил

для завершенья
гармонии твоей.
Я не в обиде.
Все будет снова.
Может, чуть иначе
ресницы колесниц на лицах...
ночи...
увидишь степи наши,
где бездонны
озера...»
— Будь, Шамхат,
себе подобна.

III

— Возьми ее, как равный,
исполняя
ее желанья.
Даже тени стройной
не позволяй чужой ноге коснуться.
Желаний мужа
будь и ты достойна.

Косог послушно голову склонил.
Обряд ему надоедал.
Желал он.
Шелк одеяла взгляд его манил.
Сейчас уйдут.
Опустят полог.
Ждал он.
— Укрась четвертый палец его знаком
кольцом серебряным.
И ты надень.
Соедините руки,
чтоб столкнулись
два круга.
И не разнимайте их.

Пусть над пожатьем вашим
станет слово,
название Восьмерки Небной —
сегс^[63].

Любовь — два круга белых —
айн-аль-айн,
любовь прощает
восемь преступлений.
Шамхат не поклонилась,
но сказала,
не будет тайной,
что она сказала.
— По праву первой ночи должен ты
вкусить вина девичьей красоты.
Обязан первым пробовать
отраву,
О Уходящий Хан,
используй право,—
ока сказала.
Бороды кивнули.
Вожди родов, услышав голос правды,
свои тела в пространство окунули,
когда закон вершится,
судьи рады.

IV

Огни светильников всю горели,
с камнями расставаться не хотели.
Упал со звоном пояс на ковер,
и в зеркалах мелькнули блики тела.
Весь мертвый блеск
с себя она срывала,
Теперь лишь скромность
стыд ее скрывала.
Пригнувшись, вышел

молодой косо́г,
и войлок полога укрыл порог.

V

Ретроспекция

—Жар пестрого базара,
рабыня на помосте.
Дулат слова бросает,
как циферные кости:
— Ее тамга — два круга,
два глаза, как два солнца,
две ягодицы,
груди,
как два горба верблюда.
Эй, не глядите мимо,
не обманитесь, люди.
Два круга, как два блюда
с ломтями
блуда.
День в ночи превращает,
в неверье обращает,
и кто не знал, познает,
что значит расстоянье
меж двух кругов единых!
Познайте тайн дивных.
...Познайте дивных тайн,
рабыне Айн-аль-айн^[64].

VI

И случилось то, о чем ишкузы тихо
поют, наполняя глаза горьким
светом.
О, этих женщин вправду не поймешь,
их искренность
лишь обрамляет ложь.

— Бери, если уверен,
что возьмешь.
Власть упустил!
Меня ты упустил.
Ты так любил,
Теперь ты не дрожишь.
Уходишь от меня,
исполнен сил.
Жизнь отдаешь!
Ты мной не дорожишь.
...Рабы не имели страсти
и не достигли власти.
В несчастных я пробуждала,
если не страсть,
то страсти.
И не свободу —
волю
в души их насаждала,
этим прекрасным телом
веру их наслаждала.
Я не умею править,
но наделяю правом
первой счастливой ночи
тех, кто продолжить хочет
дни
в неразумном счастье,
тех, кто достоин участия.
Ты же, увы, не сможешь
не утомиться властью...

VII

Он разрывал ее руки,
как ткани.
Она, как раба, отбивалась руками,
кусалась, мычала,
впивалась зубами досады,

визжала,
как нежный джейран
в тигриной засаде.
Сдавил ее горло
и в рот ей вогнал крик,
он белел из открытого рта,
словно мраморный клык,
и скользил по броне боевой,
защищающей сердце.
И когда он расчистил путь к цели,
когда он руками пчелы
раздвигал лепестки ее ног,
чтобы жалом звенящим
ударить в нектар вожделенный,
случилось то, о чем ишкузы тихо поют,
наполняя глаза
горьким светом вопроса.

VIII

Читатель мой, мужайся,
мы из шатра не выйдем,
что было — не увидим,
что не было — увидим.
Кто видывал такое —
цветок пчелу ужалил
и навсегда покоя
лишил пчелу?
— Ужели?
Светильники пылали,
косою за стенкой плакал,
и возле сердца плавал
ай крови:
«Айналайн!»
Верблюдов нагружали,
гнедых коней седлали.
Костры в степи тушили

смущенные мужчины.
Плясали в реве копий
под музыку мечей
стремительные кони
на празднике войны,
стелились в ноги ткани
дымящихся ночей,
лицом к лицу с друзьями,
мечом к мечу с врагами,
взовьется пыль погони!..
...Летели сквозь Персию злые,
веселые кони.

КАЗНЬ

И
Шел дождь.
По шлемам войлочным.
По латам кожаным.
Домов тележных
раскисали кошмы.
Густы у небосклона персов стаи.
Сошлись кибитки в круг —
и кошем стали.
А стрелы вяло падали
из луков,
стрельба не получалась у косогов,
не гнулись луки — тетива тянулась,
судьба ишкузам
криво улыбнулась.
Уверенные луки
не стреляли!
Оракулы ишкузов
растерялись.

Трезубцами по лужам провели,
а что они прочли,
никто не спрашивал.
Но вот выносят знамя рукопашной.

II

«Мы садились на пегих коней,
к животам прижимали руки,
и молилась орда
перед ней,
проносили хоругви, хоругви.
В центре белый каганский флаг,
волчеглавый и солнцегрозкий,
а на левый и правый фланг
уплывали знамена
красные.
Этот видел их,
видел тот
каше крепкое красное знамя,
красное-красное,
как восход,
потревоженный табунами.
До закатных стран донесли
цвет восхода.
Они узнали,
что закаты румийской земли
были цвета восточного знамени.
Жен румийских собой напоив,
возвратимся мы стариками,
станут драками наши бои,
реки горные —
арыками.
Мы вернемся в свои ковыли,
поредуют густые сотни,
и в пределы родной земли
пусть ворвутся

пустые седла».

Ур!^[65]— привстали на стремянах,

Ур!— поправили малахаи,

Ур!— и двинулись племена

жнецов немилосердных на пахарей.

III

Две оцетинившиеся толпы,

грязь поднимая,

медленно —

навстречу.

Оракулы, поглаживая лбы,

глаза закрыв,

предсказывали

сечу.

Они шептали:

«Копья затрещат,

ножи вонзятся в горла храбрых персов.

Дождь скроет подвиги

сынов ишкуза».

Пророчество сбылось —

войска сошлись.

Сливались две толпы,

как два ежа,

ломались копья,

застревая в ребрах,

и крики разрывали

горла храбрых

быстрее ножа.

Все в этой битве

было, как сказал

оракул.

Кони на дыбах

хрипели.

Хан Ишпака —

халат на голом теле,
камча в руках
и бешенство в глазах.
«Закрыв лицо рукой,
сейчас я струшу,
мне жаль людей,
которых я не встречу.
Поэт, опомнись!
Чтоб не рвались струны,
прижми рукой,
продолжи пенье
речью!
Я предок чей-то,
мне нельзя без славы.
Хотелось мне попасть
в твои скрижали,
я сильным быть хочу —
не помнят слабых!...»
...Он рвался в гущу,
но его отжали.
Дулат —
(он тоже смертник...
жар... помост...)
ударом чью-то голову украсил
и обернулся радостно:
«Помог!»
И —
не вернулся в степи:
жизнь утратил.
Раньше тела,
не успев заплакать,
жизнь упала,
задирая платье,
в грязь...
«Раба последняя,— подумал.
— Может, ветер на нее подул?»

Братья на шершавых камнях шей
с визгом
правят лезвия мечей.
Жить!
(свергался) Жить!
Скакун высок!
Пал Дулат ударенный
в висок
острой палицей...
«Теперь меня!»
Навстречу сивый перс
метнул коня.
Х(рапит)^[66].
Плывет из рук его копье.
Бунчук тягуч. Лоснится острие.
«Сегодня всем везет —
живым и битым,
может, вы не рубитесь,
а спите?
Вырубайте из меня героя,
долотом секи меня до крови,
убирать пером с пути
не гоже.
На калам его копье
похоже.
В стихах хотя бы бытие продолжить.
Страстей своих увидеть продолженье!..
Не суждено».
Упрямое копье
плывет, придать
ненужное движенье.
«Зажмурься, хан.
Закрой лицо рукой.
Прими копье под ребра.
Оно сбросит.

Ты скрючишься,
зажав кишки,
и струсíš,
и будешь прав.
Прав, как никто другой».
— Меж коньих ног,
в грязи кровавой сидя,
он даром время не терял,
кричал.
Кто хочет — у оракула спросите,
чего желал вождь свергнутый —
«Спасите?»
Живот пробитый
на руках качал.
Валился набок,
сдвинутый конем.
Мы не забудем, Ишпака,
клянемся!
Оставим его ненависть
при нем,
пырнем,
добьем копьем
и отвернемся.
Он сделал все, что мог.
Помог не маг.
Мы смяли персов,
те бежали с воем.
Оракулы торчали на холмах.
Предсказывали результаты боя.
Они кричали:
«Персы побегут!»
Когда уже мидяне не бежали —
они горой на Ишпаке лежали.
Их за ноги попозже сволокут.
И кровью хан потел
под грудой тел

и, жизнью исходя,
сказать хотел.
О чем?
Убит в нем перс,
теперь он в силе.
Белок из глаза бил
фонтаном синим.
Свершилось то, чего он ждал, Шамхат.
Пусть ночь падет,
пока еще закат.
Живучий гад.
А ну, еще разок.
Попали, в общем, правильно.
Он сдох.
Оракул скажет: «Горе не беда.
Теперь нам не бояться наказанья.
Мы предсказанье
делали тогда,
когда уже сбывалось предсказанье.
Ложь не прощали нам,
на нож — за ложь,
нам нечего рассчитывать на милость,
пусть будет то,
что все равно свершилось.
Так уж пришлось,
видать,
так уж пришлось...»

Итак, Ишпака удалился в обитель воздаяния
покорять неслетлую землю.
Может быть, его настоящая родина там.
Тем его озера с осокой и горы высокие.
Ушел, потеряв шапку, бога и жизнь,
но сохраняя нечто, что приобрел.
То, чего не имел ни один скиф.
Что же он приобрел? — спросят любопытные.

На это нет ответа.

ПРАЗДНИК КРАСНОЙ ЗЕМЛИ

*И когда опустеет небо,
проснутся они...*

От крови пьян поэт!
А после боя
слова развязны
разбрелись из строя.
И строки славы, как пустые роги
(пир утихает),
валятся под ноги.
Провидец, выходи на поле битвы,
решился спор величья и обиды,
пустынно поле жизни,
нет убитых,
шлемы, словно панцири
улиток,
да кое-где раздвинется трава
и мертвая — из грязи голова,
глаза растоптаны,
и шеи нет.
Оракул, стой.
Иди, ищи, поэт.
Ступай туда, откуда конский стон,
шагай, на посох слуха опираясь,
увидишь за холмами
мертвых стан —
врата земли для лучших отпирают
живые братья их.

II

Огромен ров.

Дно выстлано двурогими коврами,
воздвигнут в центре пропасти шатер
тремя равновеликими углами.

Ишпака вносят,
вдетого в броню,
укладывают на широком торе.

Кувшины справа — золотом набиты,
в бою добытом.

Кувшины слева —
темное вино
и жидкий жир.

А вяленое мясо
уложено в тугих мешках копченых,
хлебы льняными тканями покрыты.

Эй, кравчий, наливай вина
поэту!

Я стоя выпью
за кончину эту.

...Вокруг шатра (так тесно в этой яме)
сложили воинов,
ушедших с ним,—
кыр-гузов, ики-пшаков и косогов.

Скульптуры неживые
в рваных латах,
мечи сияли,
колчаны лоснились.

Они готовы к тем сраженьям славным,
которые им на земле приснились.

В их лицах искаженных
ты прочти
немые отраженья
слов последних,
меж тем и этим миром —
ты посредник,

тебе открыты тайны все
почти.
О чем подумал рыжий ики-пшак,
мечом лидийским
в горло пораженный?
Оскалился.
Чему был воин рад,
вступая из садов
в пустыню Гоби?—
«Прносятся мимо
ревущие острия копий!»
А этот серый,
скорченный от боли,
кишки в руке,
в другой зажат клинок,
что выражал он
в миг последний
воем?
Себя, наверно, спрашивал о том;
«Можно ли драться
с распоротым животом?»
«Можно!» — слышал он рев
обезумевшей воли.

III

Скуны держались отдельно —
поближе к шатру.
Уч-ок, Наводящий Ужас,
лежал безголовым.
Напрасно искали главу —
в траве затерялась,
в легендах осталась.
Воспет величавый подвиг:
ему оторвали голову утром
в начале битвы,
а он продолжал рубиться

и только в полдень,
когда закричал в желудке баран
пронзенный
и клич не раздался,
в сердце произнесенный,
когда три стрелы Яздана
добили печень,
когда отломили руку
и стало нечем
врагам наносить
безжалостные удары,
он с мерина пал,
он понял —
подкралась старость.
Эй, кравчий, собака,
подай мне другого вина,
за воина славного встану
и выпью до дна!

IV
Хан был одинок без нее,
и она одинока.
Ну что же,
она пожелала,
ее не держали.
Она
по ступеням
спустилась
на дно
могилы.
Пошла по телам.
Живые ее уважали.
Они наблюдали с увалов
и, кажется, знали:
Шамхат
покрывала

пространство
между кругами.
Все ближе шатер.
У входа, спиной к косяку,
сидит обескровленный,
череп проломлен,
Дулат,
тяжелая палица, взятая с болью,
в руке,
он будет и там рядом с вами
(входите, бике!),
сидит, ухмыляется вытекшим глазом
Дулат,
у ней настроенье испортилось,
можно понять.
Прекрасно тому,
кто, не мучая мыслями разум,
из круга в другой переходит
не медленно, разом.
(Не медли, о кравчий!)
Она у дверей.
Опустила
на белый порог
войлок полога.
(Опустела
проклятая чаша.
Эй, кравчий, не можешь почаще!..)
Светильники, полные маслом,
она засветила
и веером мух прогнала
с лица властелина.
Нелегкий тундук приоткрыв,
помещение проветрила,
хлебы и кувшины с водою и маслом
проверила,
И стала готовиться к ложу,

читатель мужайся!

V

Эх, Шамхат,
это имя ело ему глаза,
набивалось в ноздри,
сыпалось красным песком в пищу,
крошило зубы,
это имя, похожее на фыркание кошки,
собачий чих,
его противно брать на язык
и давить зубами,
если бы мог Ишпака,
хотя бы ради забавы,
он, как собака, бы выгрыз его из памяти
вместе с кусками
окаменевшего мозга!..
Но поздно.

VI

...Сняла диадему
добротной шумерской работы
и бусы снимает,
алку не спеша отстегнула.
За стенками — крики.
Браслет золотой отогнула
тяжелый,
старинный —
с изнанки он черен от пота.
...Спускают в могилу коней
и руки на них поднимают,
их колют под ухо,
и лошади не понимают.
Их режут и режут,
кричат, вырываются кони.
О кравчий,

я их уважаю за эти законы!

VII

Все!

Все повторится!

Не быть лишь сюжету такому!

Лиловых шелков!

Горячего синего цвета

ее одеяний.

Не будет такого контраста

между смирением стана

и бешенством контура бедер,—

изящный кувшин,

наполненный, холодом страсти.

Вы будете пить

из темных рассохшихся ведер,

из бочек дубовых,

несоразмерных жажде,

толпу утоляющих мутной

ржавою жижей,

из луж повседневных.

Кувшины бывают — однажды.

...Она обнажилась,

стыдливо легла под светильник,

свет жадно хватался,

ласкал,

но она не пустила

ни блика

в межбедрие.

Лежа в холодной постели,

тень левой груди

мгновенно

кинком осветила

и — на бок!

VIII

...Из щели тундука
на тело дуло,
она к животу
колени тянула.
Ударили горсти земли по шатру,
и пламя светильников
плачем пригнуло.
Ладонью ползя по раскосому
лику,
безглазому, явному,
как улика,
она шевелила губами:
— Косуля...
Косуля любимая...—
не обманула.
Шатало,
лупили землей
по шатру,
по страже,
по трупам кричащим,
все чаще,
все глубже уходят под землю
герои.
Читатель, вылазь из провала —
Поэту подобное
не по нутру.
Пока извивается болью спина,
пока не погасли светильники —
на,
читатель,
гляди,
не забудь, как она
затихла вдоль мужа
с улыбкою робкой.
На рукояти,
торчащей из ребер,

запомни, о кравчий,
светилось —
«Вина».

ПРИГОВОР

I

Оракулы.

До тризны пьяны мы —
все знают — быть беде.
На поле мирном зрим курганы мы,
не спрашивайте
«Где?»
Увидите. Насыпан вами он
и утрамбован лбами он,
крутой курган,
воздвигнутый над рвом,
трезубцем нарисован был в воде
предвиденья.
До тризны пьяны мы.

II

Поэт.

Курган насыпали и на кургане
установили одинокий камень:
лицо и торс
сошлись двумя кругами,
рука с крестом меча,
другая с чашей.
(А может быть, с рогами?
Но разве роги чарой не бывают?)
В посудине ее —
и яд, и мед,
стоит она, не возглашая тоста,

ничтожный глинописец не поймет
ударов молота каменотеса.
Глаза не лотосы —
слепые трещины.
(Воистину, бьешь камень,
выбьешь женщину!)
Потомкам пусть о временах
опасных
расскажет изваяние грудастое.

III

Вино приносят в жертву
на кострах,
пируют скифы на кургане свежем,
проваливаясь по колена в прах,
танцуют скифы,
подавляя страх,
танцуют скифы
и былины длинные
поют (из века в век
одни и те же).
О, лишь Котэн, невежа,—
не паяц,
он не играет.
Пьет.
Пусть лучше учится
любить.
Как избежал он этой участи?
Нам, Изваяньям Страсти,
не понять.
Мы камнем канем в вечность,
он не канет,
как пена,
он покроет
время вплавь,
на дне столетий

сатанеют камни,
не понятыми символами
правд.

IV

...Ухой бараньей запивая горе,
орут о радостях любви изгои.
Чадят костры,
и морщатся верблюды,
и, глядя искоса на их мохнаты груди,
узdechками позвякивают кони.
Зачем мы сталкиваем наши чаши?
Чтоб звон услышать,
черепки оплакать.
Все кончено.
Глядит из тьмы собака,
похожая глазами на Ишпака,
и зуб горит,—
то в опьянении винном
огонь костра с клыками говорит
на языке луны
о чем-то львином.
Под глиной львы-ишкузы
в рваных латах,
хватайте глину, скульпторы Эллады,
ногами мните,
думайте, валяйте,
героев безголовых изваяйте.
Ваятель-бог,
ведь говорят, что он
из глины темной
сделал человека.
А что такое слово?
Коний стон,
рык тигра,
шип ужа,

молчанье рыб
и свет звезды полуночной Омеги.
Амбары языков забиты
именами
умершими.
Нужна иная речь.
Созвучья не песком воспоминаний,—
дум будущих живыми именами
готовы в глину письменную лечь.
Так говорят.
Ваятели словес!
Берите глину для табличек вечных
с могил воителей,
с могил невест...

У
Мы, летописцы, видели немало,
перо не по таким следам ступало.
В нас мудрость въелась,
как веревка в ногу
козы, чтоб далеко не убегала.
Ты не сумел быть ханом
до конца,
а жаль,
пройти б от края
и до края,
в живых лишь
летописцев оставляя,
вселив им
злую ненависть в сердца.
О, мы не забываем никогда
свои тысячелетние обиды,
великие сжигали города,
не ведая, что летописец видит.
Вселенную наискосок прошли,
оставив рваный след меча

на карте,
о них потомки в хрониках
прочли,
в учебниках, разложенных
на парте.
Хотел войти в историю
любовью,
хотя бы в устный эпос,—
черта с два,—
лицом не вышел,
утверждаю с болью,
в насильники провел
едва-едва.
Единственно, чего добился я,—
в анналы ассирийского царя
в две строчки
допустили имя скифа:
«Хан Ишпака, из племени иш-куз,
был мастер в сфере воинских искусств,
ворюга, сволочь».
И на том спасибо.

VI

...Из той же глины дайте гончару,
на круг вертящийся, гончар, бросай
сырую глину,
рук не отнимай,
пока не выльется в ладони чара.
На солнце высуши и подари
поителю словес, не то сворует.
Черпни воды, поэт, и говори,
пусть правда звуков
воду очарует!

— Когда врывались мы,
казну зарыл Он

в священной роще,
камень навалил он.
Его наперсник,
раб из рода берш^[67],
кочевник, скиф,
телохранитель верный,
он, только он,
знал тайну той могилы,
и он, презренный,
бросился туда,
чтобы казну ограбить.
Не успел.
пал от ножа царя,
с казною похоронен.
...Царь, скифов избегая,
в женском платье
скрывался в храмах,
и пришла расплата.
Вот смысл тайны
бедного Дулата.
А Ишпака!..
Как заблуждался он!
(О сладостные юноши Ассирии!..)
Лежит в шатре
с ножом в груди красивой
не женщина,
а сам Ассархадон.

VII

...Но даже эта
темная вода
поэту не заменит никогда
вина, что превратит его
в злодея.
Эй, кравчий,

опрокинь
кувшин скорее!
Из новой чары
встанем и допьем
последнее.
Им хорошо вдвоем.
Она ножом пробита,
он копьем.
Зато — вдвоем.
Кому что достается.
А мы с тобой,
читатель, расстаемся.
Зато — живем!..

7 в. до н.э.—20 в. н.э.
Ассирия — Никаноровка

notes

Примечания

Из книги Л.Н. Мартынова «Воздушные фрегаты»,
издательство «Современник», Москва, 1974.

Национальная игра. Юноша, догнавший в скачке девушку, должен её поцеловать.

З

Б у р а (каз.) — верблюд.

4

А д а й - казахское племя у Каспийского моря.

5

У р а н (к а з.) — клич.

6

Д ж у т (каз.) — время гололеда, время падежа скота.

7

З и н д а н — яма-тюрьма.

8

А р у а х - дух предков.

К о н у н г и — вожди варягов.

10

К у м а н ы — византийское название половцев.
(О.С.)

Т а р а н ч и (тюрк.) — земледелец.

Этот айтыс впервые записал Чокан Вапиханов в XIX в.

Т о с т а г а н - деревянная чашка вроде пиалы (к а
з.).

И с ф а г а н — город в Иране.

А р м а н — мужское имя, в переводе: надежда.

Ш а б у л — набег (каз.)

Мечеть в Стамбуле.

К у л - раб (каз.).

Пусть простят меня географы, но география планеты так быстро меняется, что, возможно, завтра Тобол действительно станет впадать в Ишим (авт. 1976).

Е л и к — горный козел.

С о р (каз.) — высохшее соленое озеро.

А д а м — человек.

А д э м — рай.

Ш л о к а— двустишие.

25

С е з а м — сахарный тростник.

К и к а р — акация.

Н е о л и т — новый каменный век.

Н Е О. Л И Т. — новая литература.

П р о и з в е д е н и е — термин взят из учебника арифметики.

Гомер Аблаев (правильней — Г у м е р) — феодал 18 в. н. э. (А м а н).

Ж и р ш и — певец (каз.).

Ж и р — песня (каз.).

Б у л б у л — соловей (каз.).

П у л-п у л — деньги (каз.).

Историку С-иму сотню должен, Б-лову — тоже (Аман.).

Машинистка при перепечатке постоянно превращала слова Жаппас в (Жё пасс), что в переводе с французского означает — «Я гряду». Мне стоило усилий выправить его имя, хотя в высшей справедливости этих опечаток ни секунды не сомневался. (А м а н.).

«N-ск даун!»— «Долой N-ск!» (б а р.).

Э к с п а с с и в н ы й — в происхождении этого термина виновата машинистка. Читать можно и «экспансивный». (А м а н.).

А д е м — рай.

В лето 6496 Владимиръ повеле креститися.

А р а л — Аральское море. На казахском языке слово «арал» означает буквально — остров.

С о р — солончак (к а з.).

Б у л ь б у л ь — соловей (таджикск.).

А р у а х — дух (к а з.).

М у р з а — господин (к а з.).

М Н С — младший научный сотрудник.

Все не поддающиеся переводу сочетания букв исследователями принято относить к именам собственным (А в т.).

С Н С — старший научный сотрудник.

См. подробнее у А. Эйнштейна (И ш п.).

А с п а н К а й ы г ы — созвездие Б. Медведицы,
букв. «Небесная лодка».

Я з у — писание. Я з ы к — надпись (о г у з.).

У р у к — род (о г уз.).

С е р н а, видимо, то же, что и косуля, кабарга, джейран, газель.

2 т а л а н т а — около 42 кг. (И ш п.).

А к р и д ы — саранча, лакомство ассирийских царей
(И ш п.)

Т е н г р и (Дингир, Тингр) — древнешумерский бог-солнце.

Т о р ь — возвышенное, почетное место у дальней стены, против двери, чтобы свет падал на лицо почетного (торе).

С к у н — вариант. «Сигун» — букв, «самец», «рогатый».

Т а м г а — герб, эмблема рода.

Б а х у с — жрец, шаман (И ш п.).

Не в честь ли древнеегипетского бога по имени Хор-ахте назван судья?

Соединение рогов (у, в) с чертой (и) давало священный знак «убитые рога» («не бык»), в эпоху матриархата — основной символ бога-женщины. Название бога-женщины (жизни, любви, рождения), распространяясь по миру, обрастало артиклями: семит, аль; греческ. хо; индо-евр. то, та (аль-ви, хо-ви, ви-та, фи-та). (И ш п.).

Знак 8 — был у нас символом любви, и потому в огуз. языках название восьмерки — «сегс» означает и «половой акт» (И ш п.).

А й н-а л ь-а й н — др. семит, название знака любви
— Два круга (И ш п.).

У р! — клич, дословно «Бей!» (И ш п.).

Странно, каким образом в повесть 7 в. до н. э. попал современный кинотермин «рапид», т. е. замедленная съемка. Искусствоведы должны обратить внимание на этот факт, который невозможно объяснить голым отрицанием (И ш п.).

Б е р ш — один из огузских родов. Следовательно, раб не был персом и ненависть Ишпака к персам основана на заблуждении (И ш п.).